



Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Ясуси Иноуэ

Три новеллы





Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

井上 靖

猟銃

闘牛

比良のシャクナゲ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Ясуси Иноуэ

Три новеллы

*Составление и перевод
с японского Б. Раскина*

Предисловие Н. Федоренко

Москва
«Известия»
1982

И (Яп)
И67

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Иноуэ Я.

И67 Три новеллы / Пер. с японск. и сост. Б. Раскина. Предисл. Н. Федоренко — М.: Известия, 1982. 144 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

В настоящем сборнике представлены три ранние новеллы Ясуэ Иноуэ, принесшие ему популярность. Они достаточно ярко характеризуют не только автора, но и сложное, противоречивое время в жизни послевоенной Японии. В судьбах отдельных людей угадываются у Иноуэ национальные типы, которые во многом остаются неизменными и в настоящее время.

И 4703000000-036 — 713-82
074(02)82

ББК84.5Я
И(Яп)

© Составление, предисловие, перевод на русский язык издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1982.

Весеннее время в Токио... Всего прекрасней здесь цветение прославленной вишни-сакуры, воспетой в японской поэзии и щедро отображенной в живописи разных эпох. Цветы сакуры, появляющиеся на голых чернеющих ветвях, — простые и махровые, самых различных оттенков. Нет, кажется, живописнее картины, чем кроны этих дивных деревьев.

«Сакура видна по цветам», и толпы зачарованных людей часами любуются прелестью весеннего дня, когда на ветвях, напоминающих нутую проволоку, распускаются нежнейшие лепестки, образующие белое или розоватое облако цветения. И каждый японский дом украшается в это время прекрасными ветвями сакуры, эфирные ее лепестки преподносятся друзьям и любимым... У сакуры своя образность и собственный свой язык. Поклонение это цветам отозвалось в особом понятии «кансё», означающем «взирать», «всматриваться», «не сводить глаз». Не сводить глаз и видеть прекрасное, ощутить нежность весны. Здесь, как у художественного полотна, нужно отступить на несколько шагов от предмета любования, чтобы увидеть его пропорции, охватить глазом всю раму живого творения. И не для избранных, а для всех, невзирая на возраст и общественные позиции, сакура едина и для каждого особенна.

Принята в Японии и «ёдзакура» — «любование сакурой вечером», когда цветение декоративной вишни становится неповторимым зрелищем при специальном освещении в традиционном японском парке, где собираются друзья, которых сближают эстетические стремления, творческие интересы и мировосприятие.

С японскими писателями мы встретились в небольшом токийском саду в то время, когда цветущие ветви декоративной вишни приобретают захватывающее своеобразие и люди не просто восхищаются творением природы, но стремятся поглубже заглянуть в себя, осмыслить сопричастность жизни других, судьбе народа, родной земле. Особенно это существенно для писате-

ля, которому нужно постоянно прислушиваться к внутреннему голосу и стремиться выразить разнополюсные позиции в своих произведениях. Ощущения эти как бы переносят тревоги социального смысла в глубину сознания художника. И чем выше ответственность писателя, тем большей проникновенности она требует. Иначе труд его утрачивает истинность, не вызывает доверия.

Среди участников писательской встречи был Ясуси Иноуэ, крупнейший художник слова современной Японии, известный нашему читателю по книге «Сны о России» и новелле «Охотничье ружье».

Ясуси Иноуэ, с которым мы были знакомы многие годы, казалось, почти не изменился. И если бы я не знал его возраста, едва ли мог подумать, что ему теперь уже за семьдесят. Невысокого роста, сухощавый, с неторопливыми движениями, он производил впечатление человека сдержанного, твердо установившегося образа жизни. В беседе это внимательный слушатель, но крайне скупой на слова. Проницательному человеку принадлежит меткое наблюдение: тот, кто не умеет молчать, редко умеет хорошо говорить. Молчанием не только можно многое высказать, но и многое сделать. Разве молчание не бывает порой выразительнее всяких речей? Но у Ясуси Иноуэ всегда есть и что сказать...

В памяти сохранилась наша последняя встреча в доме писателя, который, помнится, нелегко было мне разыскать в нескончаемых токийских лабиринтах. В прошлом названия в этом городе, когда он еще вольготно ширился по горизонтали, давались не столько улицам, сколько домам. Значение имели дома, их владельцы, их обитатели. В этом тоже был свой смысл. С ростом же города эта традиция породила многочисленные сложности с установлением адресов, в отыскании места жительства.

Волею случая мне посчастливилось провести целый вечер с Ясуси Иноуэ в тот час, когда человек не в пути и не в бесконечной суетности, а дома, у своего очага. В традиционном японском жилище с особенным его устройством, экзотическим, на взгляд европейца, интерьером. И все же чем внимательнее я

вглядывался во внутреннее устройство жилища, отдельные предметы и неброско расположенные миниатюры, тем более утверждался в простой мысли: здесь само первоначало и человека и его города.

Признаться, дом писателя на первый взгляд производил впечатление полупустого помещения. Ни столов, ни стульев, ни громоздких диванов. Никаких неуклюжих вещей, которых обычно множество в наших квартирах. Ничего ненужного, неоправданного. И меня все навязчивее преследовала мысль: где же смертельная схватка «вещей и душ»? Невольно возникали сопоставления. Одна из характеристик существования человека в западном обществе — испытание вещами, усложненным бытием, непомерным накопительством. Материальное стяжательство и неистовое властолюбие люди пытаются там воспринимать и выдавать за воплощение прогресса и просвещения.

Пространство — одна из добродетелей японской архитектуры. Ощущение объемности, свободного, неограниченного строгими рамками простора, хотя речь может идти даже о малых масштабах, миниатюрах. Взгляд этот применителен и к условиям очага, образу жизни, в неменьшей мере он действителен и в отношении принципов искусства.

Сознанием устойчивости собственной сущности писателя, смею заметить, показалась мне самая просторная комната в его доме. Как я понял, она служит кабинетом и одновременно гостиной. Здесь сосредоточены главные книжные богатства Ясуси Иноуэ. Три сплошные стены — от пола до потолка — уставлены плотными рядами книг, заключенных в футляры, специальные переплеты, обрамленные цветными шнурами, лентами. Книги тщательно подобраны, расставлены тематически, снабжены указателями. Само по себе собрание это для книголюбца, думалось мне, — ненаглядное зрелище. Огромный и увлекательный мир... И долгий, неустанный труд художника, ценителя и собирателя сокровищ словесного искусства. Захватывающая эта картина, которая по-своему отображает художественную традицию, национальную самобытность — категорию, исторически изменяющуюся и зримую даже в заглавиях выстроившихся здесь фолиантов.

— Наиболее ценные книги приходится прятать в специальном бетонированном хранилище... Пожары, знаете ли, а также прочие бедствия и социальное зло беспокойного нашего бытия довольно частые у нас явления, — почти застенчиво сказал Иноуэ, когда мы разговаривали с ним за чашкой японского зеленого чая, подле изумительного его собрания книг и рукописей.

Четвертая стена, состоящая из раздвижных рам и створок, служит в кабинете писателя выходом в небольшой садик, совсем миниатюрный, скорее символический.

— Каждый день вместе с восходом солнца любуюсь растениями и цветами, растущими на этой земле, которая для меня олицетворяет целый мир, всю нашу вселенную,— тихо произнес Ясуси Иноуэ, приближаясь к решетчатой двери, обращенной к садику.

Здесь писатель встречает утренний свет, ниспадающий на его жилище с небесной выси, здесь испытывает радость первых чувств, мыслей и радость нового дня, который он хотел бы начать и завершить с любимыми его сердцу образами. Здесь, видно, постигает он, сколь сладок вкус полныи одиночества и творческого счастья, первичность ощущения жизни.

Сколько раз наблюдал отсюда писатель, как весной возникают липкие почки на ветвях, превращающиеся в изумруд, как листья кружатся, как падают лепестки, как закрываются вечером цветы. Сколько раз видели его глаза, как листья облепляют с ветвей и возвращаются всегда к корням дерева, на ветвях которого выросли. Ветер порой стремится отнести их в сторону, но другая, более мощная сила влечет листья под крону дерева.

Любовался, как опускается снег, вновь пробивается нежная трава, напоминая о движении времени и неостановимости жизни. И все это через раздвижные дверки, на малом клочке земли.

Как это нередко бывает в подобных случаях, разговор у нас зашел о минувшем, о том, что произошло в жизни, что уже удалось и еще задумано. Доставило мне удовольствие напомнить Ясуси Иноуэ, что журнал «Иностранная литература», который гордится тем, что открыл его творчество для советского чита-

теля, готовит к печати отдельный сборник новелл писателя. С немалым удовольствием сообщил и о том, что его роман «Сны о России», переведенный на русский язык нашим коллегой Раскиным, уже выдержал в Москве второе издание. Заметил также, что в последние годы в нашей стране были изданы многочисленные произведения японских писателей, как и книги других зарубежных авторов. Едва ли нужно доказывать, что один из показателей гуманной природы общества проявляется в отношении общества к духовным и культурным ценностям других народов и стран. В том факте, что Советский Союз занимает ведущее место в мире по переводу и изданию зарубежных писателей, несомненно, отражается глубоко уважительное отношение нашего общества к художественному опыту других народов.

Роман «Сны о России». Он наглядно характеризует творчество Якуси Иноуэ. Это и факты, и размышления, и мечты. Это — не безразличное постижение истории, традиций, наследия не только своего народа. В прекрасных снах о России выражены мечты, без которых немислимо само творческое вдохновение. В самом деле, если отнять у человека способность мечтать, то отпадает одна из самых действенных побудительных причин, рождающих культуру, искусство, науку и желание борьбы во имя прекрасного будущего. Но мечты не должны быть оторваны от действительности. Они должны предугадывать будущее и создавать у нас ощущение, что мы уже живем в этом будущем и сами становимся иными.

И хотя уместно заметить, что встреча главного героя романа «Сны о России» японца Кодаю с Радищевым создана воображением автора, она убедительна, она заставляет верить в ее реальность, придает высокое трагическое звучание финалу произведения. Подлинное искусство — это всегда открытие, а не повторение известного. Повторяемость суть ремесло. Художник же, на наш взгляд, следует либо за возникающим у него образом, либо за правдой, которая раскрывается перед ним в новых и неожиданных гранях в процессе постижения жизненной истины. И снова мысли о соотносимости Востока и Запада. Привычные термины «Запад» и «Восток» при исследовании ду-

ховной жизни и истории литературы, смеем заметить, не могут быть безоговорочно приняты в качестве научных дефиниций, определяющих адекватные понятия. Термины эти, пожалуй, в большей мере должны рассматриваться как символы или условности с их ограничительным значением, как понятия, связанные скорее с движением небесного светила — с восходом и заходом солнца.

Ясуси Иноуэ, будто отвечая на мои размышления, рассказал о том, с какой тщательностью он собирал материал для «Снов о России», о поездках в Советский Союз. Он посетил Иркутск, Ленинград, Пушкин — места, где жил его герой Кодаю. Это реальная историческая личность: во времена Екатерины Второй Кодаю был подобран после крушения судна русскими моряками у берегов острова Амчитка. И вот за годы, проведенные на нашей земле, Кодаю искренне привязался к России и русскому народу. «Здесь никогда на добро не отвечают злом», — записывает он в своем дневнике, который лучше всего характеризует его автора.

Вспомним, что филологи и историки по рисункам на осколках древних сосудов, по едва сохранившимся следам на камнях и скалах, поистине из праха восстанавливают прошлую жизнь, действительность вековой давности. По иероглифическим знакам на гадательных костях, по отрывкам фраз и отдельным словам стремятся воссоздать борение страстей, ушедшие в Лету миры и культуры. Но именно воображение, творческий полет мысли художника призываются на помощь тщательнейшему исследованию.

Известно также, что крупные события и явления современники не всегда могут оценить в достаточной степени. Последующие поколения, художники и писатели видят их порой лучше и всеохватнее. Словесное искусство в творчестве художника помогает глубже постигать жизнь, увидеть ее во всей сложности и многообразии. Живая реальность, ее отражение в произведении писателя и представляют собой основную меру ценности литературного творения. Можно сказать, что всего острее человечество видит себя на платформе художественного творчества. Именно на этой платформе люди встречаются,

пересуживают время, а затем их творения моет время, моет человечество.

Роман «Сны о России» — плод долгого и упорного труда мысли, поисков, сомнений, творческого воображения. Верно утверждение, что произведение должно быть прежде всего результатом каких-то глубоких внутренних обретений, потерь, борьбы с самим собой, завоеваний, открытий. Разве художник не должен стремиться видеть человека, который идет, открывает, иногда спорит сам с собой, утверждает, настаивает, борется? Ведь искусство нужно только тогда, когда с его помощью можно что-то по-новому глубоко понять в самом себе и в мире, в котором нам суждено жить, а значит, прокладывать свою тропу.

Литература, как одна из древнейших форм художественного постижения реальности, развивалась в органической взаимосвязи с общеисторическим контекстом. Она и плод мировосприятия, размышления над реальностью жизни, и продукт поступка, действия, творчества. Важен здесь каждый аспект, все элементы движения к созиданию произведения искусства, чтобы понять все царственно прекрасное древо.

Разговор наш незаметно перешел в область творчества писателя, проблемы искусства слова, в область того, как воплощается реальное и воображаемое в художественном произведении, каковы права автора на вымысел в историческом романе... И я все более приходил к мысли, что для нас формула о фантазии и правде не есть беспредметность, ибо знаем мы, что в дальневосточных литературах, к примеру, нередко существует реальный и волшебный мир, где переплетаются самая невероятная фантазия и самая незыблемая правда жизни.

Человеческое воображение обладает силой проницательности, провидения, предсказания. Сама природа человека таит в себе способность восприятия и минувшего, и грядущего. Всякий серьезный художник не может не предвидеть наперед. Иными словами, дело здесь не в сосуде, но в вине, которым творец его наполняет...

Книги Ясуси Иноуэ — о разных землях, людях, о времени, о том неповторимом и единственном, что не случается дважды на свете и что так правдиво, реально, искренне. И мы знаем, что

без сопряжения в художественном образе разнородных элементов, входящих в сознание людей, время выразить невозможно.

У Ясуси Иноуэ заметный интерес к минувшему, его художественному исследованию и пониманию. Писатель обладает редкостным ощущением истории, ее движения, красок и звуков времени. Сочетание мечты и реальности — отличительная сторона дарования этого крупнейшего японского мастера современности.

Писателя привлекают сюжеты прошлого различных азиатских народов, их взаимоотношения и культура. На эту тему им написан ряд исторических романов, в том числе «Синий волк» о Чингисхане. Много времени отдавал Ясуси Иноуэ изучению так называемого «шелкового пути», проходившего через Среднюю Азию, Синьцзян и Китай. Он сам, уже в наше время, проехал по нему, побывал у нас в Средней Азии. Результатом его путешествия явилась серия очерков.

Иноуэ — крупный знаток древней японской культуры. Он часто привлекается к редактированию и подготовке книг, посвященных древнему искусству Японии. Писатель специально изучает архитектуру древних буддистских и синтоистских храмов, историю их создания, связанные с ними легенды, что порой вплетается в ткань некоторых его произведений.

Однако из всего сказанного не следует, будто Ясуси Иноуэ замкнулся на прошлом и его не интересует жизнь нынешней Японии. Обращаясь к минувшему, к событиям прошлого, Ясуси Иноуэ ищет живой отклик в настоящем. Прошлое и настоящее, история и современность неизменно, хотя и не всегда зримо, перекликаются в произведениях писателя. Как художник оригинальный, он владеет своей тайной живописи словом, посвоему «смешивая свои краски и озвучивая время».

Характерно, что многие статьи и очерки, опубликованные им в японских газетах и журналах, посвящены жизни современного японского общества. Случается, что небольшая газетная заметка наталкивает писателя на тему, которой он посвящает рассказ или даже роман. Так произошло с романом «Ледяная стена», переведенным впоследствии на некоторые европейские

языки. Примечательно содержание «Ледяной стены». Один из друзей-альпинистов, совершая восхождение на неприступную гору, погиб из-за обрыва страхующей веревки. Подозрения пали на его друга. Положение усугублялось еще и тем, что в их отношения оказалась замешана женщина. Второй альпинист пытается защитить себя, доказывая, что не обрезал веревку, что она перетерлась, поскольку была сделана из нейлона. В дело вмешивается компания, заинтересованная в изготовлении нейлоновых веревок, заменяющих пеньковые. Если друг погибшего докажет, что веревка перетерлась, никто из альпинистов не станет приобретать нейлоновые веревки. Не сумев себя реабилитировать, альпинист погибает в горах... Случилось неожиданное: роман стал предметом обсуждения специальной комиссии. Ясуси Иноуэ с удовлетворением рассказал недавно, что комиссия приняла особое решение, регламентирующее случаи использования альпинистами нейлоновых веревок.

Таков финал вторжения писателя в современную жизнь, вторжения весьма продуктивного. Помимо всего следует отметить, что «Ледяная стена» написана увлекательно, с элементами социального детектива, с заострением злободневных проблем сегодняшнего японского общества.

Велик язык искусства. Он способен стать действием, претворением идеи в реальность. И повседневное может оказаться захватывающе интересным, если с этим встретится настоящий художник, который сделает привычную эту реальность предметом искусства.

Талант Ясуси Иноуэ поистине многогранен. Он подлинный мастер короткого рассказа, тонкий знаток человеческой души, особенно женской. Об этом свидетельствует и публикуемая в нашем сборнике новелла «Охотничье ружье». Ясуси Иноуэ — прекрасный стилист. Его произведения — это язык образности, в котором выражаются метод и форма мышления. Мы видим, как из-под иероглифических знаков возникает картинность — живая, полная чувств, дыхания. Рождается оригинальная языковая ткань, свидетельствующая о творческом развитии выразительных средств. Ибо когда язык перестает обогащаться, он умирает.

Писатель как бы говорит нам: хотя это может показаться слишком самонадеянным, но у него такое ощущение, что если во фразе окажется пусть одно неверное или неточное слово, то нарушится гармония создаваемого мира, ибо яростно мир его наблюдений и идет он к душе человека, чтобы мерить им и себя, и время. Художественное произведение выражает прекрасное в жизни и делает его достоянием читателя. В этом объяснение, почему писатель обращается к миру чувств, к сердцу человека, таящему в себе от природы неиссякаемый источник прекрасного, хотя жизнь нередко оставляет тяжелые следы в человеческой душе. Целостность образа мира... И человека в космосе всечеловеческой истории. Возникает вопрос: не является ли создание художественного произведения скорее процессом поиска? И если это так, то в истинно художественном произведении надо видеть не фиксацию какой-то идеи, а процесс ее постижения, приближения к истине. Разумеется, если речь идет о процессе ее художественного постижения.

Именно в процессе постижения возникает та пленительная, невесомая, почти неосязаемая внутренняя художественная правда образа, которую создает искусство слова. От каких чар рождается ее обаяние? От концепции? Только ли? А не завораживает ли здесь и способ, метод художественного познания?

Ограниченный объем нашего сборника не позволяет более широко ознакомить советского читателя с литературным творчеством Ясуси Иноуэ. Мы остановили свой выбор лишь на трех новеллах, дающих представление о стиле автора и темах в малом жанре.

В этом кратком предисловии нет возможности подробно рассмотреть достоинства и недостатки публикуемых новелл: представляем их на суд читателя без комментариев. Отметим лишь, если «Охотничье ружье» написано в грустно-лирическом стиле — кстати, это подчеркивается и характером изложения в форме личных писем, — то «Бой быков» дает как бы в миниатюре реальную социальную картину послевоенного японского общества, во многом превосходящую положение в нынешней Японии. В третьей новелле, «Азалии в Хира», нарисован портрет ученого-эгоиста, одержимого манией величия, возне-

навидевшего весь свет, в том числе свою семью, за то, что никто не признает его заслуг, не понимает ценности его исследований...

Подлинное искусство слова, проникнутое общечеловеческой мыслью, свободно от национальных ограничений. Это, однако, вовсе не значит, что оно лишено таких измерений, как время и место его возникновения, своеобразие века и родного очага, оригинальность и самобытность. Именно благодаря всему этому, видимо, истинные творения искусства выходят за пределы национального своего происхождения, и становятся фактом художественного творчества человечества, и выполняют миссию не только отображения, но активного утверждения наиболее прогрессивных и жизненных идей времени художественными средствами.

Ясуси Иноуэ родился в 1907 году на острове Хоккайдо. Отец его был военным врачом и хотел, чтобы сын продолжил дело его жизни. Но будущий писатель поступил в Киотоский университет на философское отделение, чтобы заняться изучением эстетики. В годы студенчества Иноуэ увлекается поэзией, а на последнем курсе пишет пьесу «Луна в эпоху Мэйдзи». По окончании университета Иноуэ некоторое время работал журналистом в газете «Осака майнити», часто разъезжал, общался с различными людьми. Работа в газете многому научила Иноуэ, но полного удовлетворения не принесла, и в сорок лет он серьезно занялся литературной деятельностью. Первая его новелла, «Охотничье ружье», была опубликована в 1949 году и сразу же привлекла внимание литературных кругов Японии. За вторую новеллу, «Бой быков», Иноуэ был удостоен литературной премии Акутагава. С тех пор им было написано много романов и около трехсот рассказов, не считая многочисленных очерков и эссе. Появилось немало монографий, анализирующих творчество Иноуэ. Различные издательства Японии опубликовали и продолжают публиковать собрания его сочинений. Издательство «Синтёся» завершает теперь выпуск его сочинений в 32-х томах. В 1976 году у себя на родине Ясуси Иноуэ был награжден орденом «За заслуги в области культуры».

На склоне лет человек все более задумывается над своим существованием, мысленно пытается взвесить достигнутое и упущенное. Стремится осознать, что сможет он еще сделать в оставшийся ему срок. И оттого особенно дорожит он временем, которое все ошутимее сужается. И счет ведется им уже не только годам и месяцам, но дням, часам, минутам.

Примечательны в этой связи слова, написанные Ясуси Иноуэ в 1974 году в газете «Майнити»: «Трудно сказать, сколь долго еще мне суждено мчаться по этой жизни, но и в тот момент, когда придется передавать эстафету следующему бегуну, мне хотелось бы оставаться человеком, утверждающим жизнь». В этом высказывании писателя нашла свое ясное выражение позиция человека и художника.

Пожелаем Ясуси Иноуэ еще долгие годы нести свою литературную эстафету, таинствами своего искусства открывая читателям в странах Востока и Запада новые континенты и горизонты, пробуждая в них желание постичь неизведанное и во внутреннем мире человека, и в извечном его окружении.

Н. Федоренко

Охотничье ружье

В последнем номере «Друга охотника» — тонкого журнала, издаваемого Японским охотничьим клубом, напечатано мое стихотворение «Охотничье ружье».

Чтобы никто не подумал, будто я питаю какой-то интерес к охоте, сразу оговорюсь: воспитывала меня матушка, не выносившая и простого разговора об убийстве, а потому я ни разу в жизни не держал в руках даже духового ружья.

Дело в том, что редактором журнала «Друг охотника» стал мой старый школьный товарищ. Хотя переписка наша давно прервалась, он знал, что я не оставил поэзию, которой увлекся в юности, когда мы выпускали любительский литературный журнал. Вот он и предложил мне — то ли под влиянием момента, то ли желая хоть как-то искупить долгое свое молчание — написать для его журнала стихотворение на охотничью тему.

Будь все по-прежнему, я бы наотрез отказался: и журнал специальный, с которым я никак не связан, и тема охоты совершенно мне чужда. Но как ни странно, меня именно в ту пору вдруг заинтересовала взаимосвязь между охотничьим ружьем и человеческим одиночеством, и, охваченный поэтическим вдохновением, я как раз собирался написать об этом. И я согласился на предложение редактора, сочтя «Друга охотника» журналом, на редкость соответствующим моим намерениям. В конце ноября, когда ощутимей становятся ночные холода, я сел за стол и где-то после полуночи закончил стихотворение, а на другой день послал его в редакцию «Друга охотника».

Так появилось на свет стихотворение в прозе «Охотничье ружье», которое я позволю себе привести здесь, ибо оно имеет определенное отношение к дальнейшему повествованию:

Человек с большой матросской трубкой в зубах медленно поднимался по узкой тропинке, извивавшейся среди кустов на горе Амаги. Его сапоги оставляли следы на покрытой инеем земле. Впереди бежал сеттер. Темно-коричневую куртку охотника перетягивал патронташ на двадцать пять патронов. За плечом была двустволка марки «Черчилль». Что побудило его столь невозмутимо взять с собой это ослепительно сверкающее стальными стволами ружье, которое отнимает жизнь у всего живого? Я глядел вслед рослому охотнику, и мне вдруг неудержимо захотелось последовать за ним.

С той поры, в привокзальной ли сутолоке большого города или посреди праздной толпы, меня нередко пронзало желание брести куда-то в одиночестве, как этот охотник: медленно, спокойно, равнодушно... В такие минуты перед глазами почему-то всплывал не тот пронизанный холодом ранней зимы пейзаж горы Амаги, а унылое белое русло пересохшей реки. И сверкающее полированными стволами ружье, которое, казалось, тяжким грузом придавило к земле тело и душу одинокого пожилого охотника, вызывало странное ощущение смертоносной красоты, какое никогда не возникает, если ружье нацелено на живое существо.

Получив от своего друга номер журнала с моим стихотворением и полистав его, я впервые понял, что поступил крайне легкомысленно: хотя название «Охотничье ружье» было вполне подходящим, само стихотворение не имело ничего общего с характером журнала и не вязалось с пестревшими на его страницах словами вроде «правила охоты», «спортивная сноровка», «полезное увлечение». Страница, которую оно занимало в одиночестве, напоминала своего рода крепость, некую отгороженную от всего остального, совершенно особую зону.

В своем стихотворении я раскрыл суть того, что называется охотничьим ружьем, как я его воспринял своей поэтической интуицией, — по крайней мере, стремился ее раскрыть, если сказанное выше звучит чересчур самоуверенно. Я говорил себе, что надо быть гордым и не унижать себя излишней скромностью. Безусловно, никакой проблемы не возникло бы, будь стихотворение опубликовано в ином журнале, но в органе Японского охотничьего клуба, призванного пропагандировать охоту как самое здоровое и благородное увлечение, моя точка зрения на охотничье ружье выглядела одиозно, если не еретически. Я догадывался о смущении, в которое повергла моего друга рукопись стихотворения, когда он впервые ее прочитал. Я представил себе, какие он, по-видимому, испытал колебания, прежде чем решился его публиковать, и его трогательная, поистине товарищеская заботливость отдалась в моем сердце укором. У меня мелькнула мысль: ведь кто-нибудь из членов клуба может возмутиться, что журнал поместил на своих страницах подобное стихотворение. Но мои страхи оказались напрасными, ни единого возмущенного письма я не получил. К счастью или к несчастью, охотники обошли мое произведение полным молчанием. А если выразиться точнее, его, наверное, просто никто не прочел. Но однажды, спустя месяца два, когда история со стихотворением улетучилась уже из моей памяти, я получил письмо от некоего Дзёсукэ Мисуги.

Где-то я прочитал, будто иероглифы, высеченные на одном из старинных памятников горы Тайшань *, напоминали, по словам историков последующих эпох, яркий свет солнца после пронесшегося урагана. Говоря несколько гиперболически, надпись на большом конверте из белой японской бумаги наводила на мысль об этих иероглифах. Время стерло высеченную на древнем памятнике надпись, не осталось ни единой копии, и теперь трудно судить о ее каллиграфических особенностях. Размашистые, крупные, словно выпуклые иероглифы Дзёсукэ Мисуги оставляли ощущение удивительного изящества, но сто-

* Тайшань — гора в Китае, одна из пяти священных гор. (*Здесь и далее — примечания переводчика.*)

ило приглядеться к ним, и от каждого иероглифа начинало веять бесцельностью, пустотой, и мне невольно вспомнились изречения упомянутых историков о надписи, высеченной на горе Тайшань. Наверно, он держал конверт в левой руке и, не жалея туши, щедрой кистью надписал его единым духом. Нельзя сказать, что его почерк был сух, но в нем проглядывала холодная бесстрастность и самонадеянность. Короче говоря, его размашистые письма с самого начала не располагали к себе, в них чувствовалось стремление к самоутверждению, столь свойственное современным людям, хотя иероглифы и были лишены раздражающей вычурности, присущей тем, кто склонен кичиться красивым почерком.

Во всяком случае, конверт производил внушительное впечатление и был столь великолепен, что лишь по ошибке мог оказаться в моем скромном деревянном почтовом ящике. Я вскрыл конверт и вынул из него большие листы китайской бумаги, какими обычно пользуются художники. Они были исписаны тем же размашистым почерком: в каждой строке не более пяти-шести крупных иероглифов.

«Я немного интересуюсь охотой. Несколько дней назад, перелистывая журнал «Друг охотника», я случайно обратил внимание на Ваше превосходное произведение «Охотничье ружье». Человек я обыкновенный, в тонкостях стихосложения не разбираюсь и, говоря откровенно, вообще впервые в жизни прочитал стихи. Нижайше прошу извинить мою неосведомленность, но и Ваше уважаемое имя доселе было мне неизвестно. Однако, дочитав «Охотничье ружье», я ощутил волнение, какого давно не испытывал...»

Так начиналось письмо. Прочитав эти строки, я вспомнил уже позабытое мною стихотворение в прозе и подумал: итак, он все-таки пришел — протест от охотника, и противник этот, судя по всему, достойный. Но, читая дальше, я все более убеждался, что мои опасения напрасны и я вовсе не предугадал содержания письма. Дзёсукэ Мисуги в чрезвычайно учтивых и изящных выражениях, в которых, правда, проскальзывали все те же самонадеянность и безразличие, писал:

«Дозволено ли будет мне высказать предположение, что прообразом человека, которого Вы описали в «Охотничьем ружье», послужила моя скромная особа? Думаю, именно моя долговязая фигура случайно попалась Вам на глаза, когда я в начале ноября шел на охоту в окрестностях горы Амаги. Меня глубоко тронуло, что Вы обратили внимание на черного с белыми отметинами сеттера, специально натасканного на фазанов, на «Черчилля», которого я получил в дар от своего учителя в Лондоне, и даже на мою любимую трубку. Но этого мало! Вы проникли в самую глубину моего душевного состояния — в коем и сам я не в силах до конца разобраться, хоть и стыжусь его, — и с поразительной силой раскрыли его в стихотворной форме. Поистине поэт обладает незаурядной мудростью, недоступной обыкновенному человеку, и мне остается лишь склонить голову перед Вашим великим талантом».

Дочитав до этого места, я попытался вспомнить облик того охотника, которого месяцев пять назад во время прогулки встретил случайно на узкой тропинке, извивавшейся в роще криптомерий у подножия горы Амаги. Но как ни силился я восстановить в памяти его облик — ничего не получалось. Я лишь смутно припомнил, что меня привлекло странное ощущение одиночества, исходившее от его медленно удалявшейся фигуры. И еще — это был пожилой господин высокого роста.

Собственно говоря, у меня не было причины приглядываться к нему. Просто шедшего мне навстречу господина с трубкой во рту и охотничьим ружьем за спиной окружала атмосфера необычной задумчивости, отличавшая его от обыкновенных охотников, и, когда он прошел мимо, я невольно обернулся и поглядел ему вслед. Он свернул с тропинки и осторожно, боясь поскользнуться, стал подниматься по довольно крутому склону, поросшему густым кустарником. Я проводил взглядом этого человека, думая о том, какой одинокой кажется его фигура. Именно это ощущение одиночества я и попытался передать в «Охотничьем ружье». Моих познаний хватило на то, что-

бы понять, что следовавшая за ним собака — отличный сеттер. Определить же марку его ружья я не мог, будучи далек от охоты и всего с ней связанного. Лишь много позже, в ту ночь, когда я сел писать свое стихотворение в прозе, я выяснил, что лучшими считаются охотничьи ружья марки «ричард» и «Черчилль». И потому я вооружил этого господина прекрасным английским ружьем. По случайному совпадению у Дзёсукэ Мисуги оказалось ружье именно этой марки. И хотя он счел себя героем моего стихотворения, тот Дзёсукэ Мисуги, который явился порождением моих размышлений, по-прежнему оставался для меня человеком незнакомым, и в ответ на предположение отправителя письма я могу лишь покачать головой и сказать: «Неужели?»

Письмо Дзёсукэ Мисуги заканчивалось так:

«Вам может показаться странным и неожиданным то, о чем я собираюсь Вас попросить. Передо мной сейчас лежат адресованные мне три письма. Вначале я намеревался сжечь их, но, когда я прочитал Ваше прекрасное произведение и узнал о Вашем существовании, мне захотелось показать эти письма Вам. Нижайше прошу прощения за то, что нарушаю Ваш покой, но я уже отправил Вам отдельной бандеролью указанные письма и надеюсь, Вы выберете время и прочтете их. Никаких иных намерений у меня нет. Хочу лишь, чтобы Вы узнали, каково то самое «белое русло пересохшей реки», в которое мне пришлось заглянуть. Человек — глупое существо. Ему обязательно хочется поведать кому-нибудь о себе. До сих пор я такого желания не испытывал, но, узнав о Вас, о том, что Вы проявили интерес к моей скромной особе, я внезапно ощутил потребность рассказать Вам о себе все, все без утайки. Прочитав эти письма, Вы можете их сжечь. По-видимому, я получил их незадолго до того, как Вы обратили на меня внимание у подножия горы Амаги. Кстати, интерес к охоте появился у меня довольно давно, когда я еще не был так одинок в этом необъятном мире, и охотничье ружье стало моим неизменным

спутником еще в ту пору, когда ничто как будто не предвещало краха моей личной жизни и служебной карьеры».

Через два дня я получил объемистый пакет, обратный адрес был тот же, что и на первом письме: «Отель Идзу, Дзёсукэ Мисуги». В пакете лежали три адресованных Мисуги письма от трех женщин. Когда я их прочитал... Нет, нет, я не стану говорить о тех чувствах, которые меня тогда охватили. Лучше я просто перепишу их дословно. Добавлю еще, что Мисуги мне показался человеком, занимавшим солидное положение в обществе, поэтому я попытался отыскать его имя в «Справочнике выдающихся личностей», а также в «Справочнике имен и фамилий», но нигде не обнаружил его и пришел к выводу, что он подписался вымышленным именем. Переписывая письма, я заметил, что некоторые иероглифы густо замазаны тушью. Очевидно, вымарано было его настоящее имя, и потому я счел возможным вписать вместо них имя Дзёсукэ Мисуги. Хочу также оговориться, что все упоминаемые в письмах люди названы вымышленными именами.

Письмо Сёко

Дядюшка! Дядюшка Дзёсукэ!

Прошло три недели с тех пор, как скончалась матушка. Вчера и сегодня уже никто не приходил выразить соболезнование, и дом сразу опустел. Я впервые по-настоящему поняла, что матушки больше нет на свете, и неизъяснимая печаль поселилась в моем сердце. Вы, наверно, очень устали. Ведь на Ваши плечи легло все: и похороны, и извещение родственников, и даже заботы о нашей еде во время ночных бдений у гроба. Вдобавок, поскольку смерть матушки была столь необычной, Вы много раз ходили вместо меня в полицию и все улаживали. Я не нахожу слов, чтобы поблагодарить Вас за то, что Вы сделали. Потом, когда Вам пришлось сразу выехать на службу в Токио, я очень тревожилась: как бы чрезмерная усталость не сказалась на Вашем здоровье.

Если обстоятельства сложились именно так, как Вы предполагали перед отъездом, значит, Вы уже завершили свои дела в Токио и, наверно, любуетесь знакомым и мне прекрасным лесным пейзажем в Идзу, напоминающим роспись на фарфоре — прозрачную, но холодную и печальную. И я решилась взяться за перо в надежде, что это письмо Вы прочитаете во время Вашего пребывания в Идзу.

Я думала написать Вам такое письмо, чтобы, прочитав его, Вы захотели бы закурить Вашу трубку и пройтись по берегу моря, подставив лицо ветру. Но у меня ничего не вышло. Сколько раз, начав писать, разрывала написанное и принималась сызнова! Не знала, что это будет так тяжело. Часами обдумывала я содержание письма, хотела откровенно поделиться с Вами обуревающими меня мыслями, надеясь, что Вы поймете меня. Но когда я брала в руки перо, все смешивалось в бедной моей голове... Нет, не то! Горькие мысли набегали со всех сторон, словно увенчанные белыми гребнями морские валы в ветреный день в Асия, и я теряла нить... Но нет, я должна написать это письмо.

Дядюшка! Позвольте сказать Вам: мне известно о Ваших отношениях с матушкой. Я узнала об этом накануне ее кончины, тайком прочитав ее дневник.

Говорить об этом с Вами было бы невыносимо, да я и не смогла бы вымолвить ни слова. Поэтому я сочла за лучшее написать Вам. Дело вовсе не в том, что случилось нечто ужасное и я боюсь. Просто мной овладела неизъяснимая грусть, и она сковывает мне язык. Я печалюсь не о Вас, не о матушке и не о себе. Но едва я пытаюсь заговорить о случившемся, голубое небо и лучи осеннего солнца, индийская сирень в нашем саду и колеблемые ветром листья бамбука, вода, и камни, и земля — все вокруг окрашивается печалью. С той минуты как я дочитала матушкин дневник, природа по нескольку раз в день обретает вдруг цвет печали. Достаточно мне вспомнить о том, что было между вами, и весь мир мгновенно меняется. Известно ли Вам, дядюшка, что кроме красного, синего — всех тридцати с лишним цветов палитры — существует еще ясно различимый человеческим глазом цвет печали?

Я узнала о том, что вас с матушкой связывала любовь, которую никто не благословил, не имея на то права. О ней, о вашей любви, не знала ни тетушка Мидори, ни я, ни родичи, ни соседи, ни самые близкие друзья. Не знали и не должны были знать. О ней знали лишь Вы и матушка.

До сих пор я верила, что любовь — это сверкающее, благословенное богом и людьми, светлое, как солнце, чувство. Я думала, любовь — это прозрачный ручеек, который, сверкая и переливаясь на солнце, весело катит свои волны меж берегов, поросших деревьями, травами и нежными цветами. Мне казалось, будто любовь рождается и растет под звуки прекрасной, неземной музыки. Могла ли я предположить, что существует любовь, подобная не ведающему солнца подземному потоку, который течет неведомо откуда и куда?

Тринадцать лет матушка обманывала меня. Она так и умерла, не раскрыв своего обмана. Могла ли я думать, что у нее были тайны от меня? Она сама не раз говорила: мы с тобой, доченька, одни на свете.

Лишь когда речь заходила о том, почему матушка рассталась с отцом, она не хотела ничего объяснять. «Ты все равно не поймешь, пока сама не выйдешь замуж», — говорила она. И мне хотелось поскорее вырасти и выйти замуж. Но не для того, чтобы узнать, почему расстались мои родители. Нет, просто я понимала, как тяжело матушке хранить эту тайну в сердце. А она в самом деле ее очень мучила. Но я представить себе не могла, что у нее есть от меня еще одна тайна!

Когда я была маленькой, матушка часто рассказывала мне сказку о зайчике, обманутом волком, в которого вселился злой дух. За это волк был обращен в камень. Как же матушка могла обманывать меня, тетушку Мидори, всех людей на свете? Что за страшный злой дух вселился в нее? Матушка в своем дневнике записала: «Я и Дзёсукэ — преступники». Моя несчастная матушка, во сто крат более несчастная, чем обманувший зайчика волк! Как же она и мой горячо любимый дядюшка Дзёсукэ решились стать преступниками, великими преступниками?! И как печальна должна быть любовь, сохранить которую можно лишь ценой великого преступления? Помню, в дет-

стве в один из храмовых праздников города Нисиномия кто-то подарил мне стеклянный шар, внутри которого был заключен красный лепесток. Сжимая в руке подарок, я горько заплакала и убежала. Тогда никто не понял, почему я так неожиданно разрыдалась. А я подумала о замурованном в холодном стекле, словно распятом лепестке, которому не вернет жизнь ни грядущая весна, ни осень; мне стало так жаль его, и я не смогла сдержать слез. И вот опять мое сердце разрывает жалость, жалость к вашей любви, подобной этому несчастному лепестку.

Дядюшка! Дядюшка Дзёсукэ!

Наверно, Вы очень рассердились, узнав, что я тайком прочитала матушкин дневник. Но накануне ее кончины меня стало мучить предчувствие, что смерть близка и ей уже ничего не поможет. Нечто в облике матушки утверждало меня в этом дурном предчувствии. Вы ведь знаете — последние полгода матушка хворала, но, если не считать чуть повышенной температуры, она казалась совсем здоровой: у нее был хороший цвет лица, прекрасный аппетит, она даже слегка пополнила. И все же, когда я глядела на нее, во всей фигуре ее мне чудилась какая-то неизъяснимая грусть, особенно в ее бессильно поникших плечах. За день до смерти матушки ее пришла проведать Мидори. Я отворила дверь в матушкину комнату, чтобы сказать ей о госте, и ахнула. Она сидела ко мне спиной в праздничной хаори в серо-голубую полосу, расшитой крупными цветами татарника, — той самой хаори, которая вот уже много лет лежала в комодe в бумажном чехле. Матушка обещала подарить ее мне, утверждая, что для нее она чересчур ярка.

— В чем дело? — недоуменно спросила матушка, оборачиваясь ко мне.

— Но ведь... — начала я и больше не смогла вымолвить ни слова. «Странно! — мелькнуло у меня в голове. — Чему я, собственно, изумилась? Что удивительного, если она надела старинную яркую накидку? Не так уж много было у нее развлечений с тех пор, как она захворала». Позже, раздумывая над этим, я поняла: матушка была ослепительно хороша в этой на-

рядной накидке и в то же время грустна как никогда прежде — вот что меня изумило. Вошедшая вслед за мной Мидори не смогла сдержать восхищенного возгласа и какое-то время молча глядела на матушку. Прекрасный и несказанно печальный образ матушки в праздничной накидке весь день преследовал меня, и сердце мое горестно сжималось.

К вечеру бушевавший с утра ветер утих, и вместе со служанкой Садаё я сгребала и жгла в саду палые листья. Я принесла купленный накануне сноп соломы, чтобы заодно сжечь и его, а пепел положить в матушкину жаровню. Наблюдавшая из гостиной за нашей работой матушка вышла на открытую галерею, держа в руках что-то завернутое в красивую плотную бумагу.

— Сожги, — сказала она.

— Что это? — спросила я.

— Не твое дело, — вдруг резко ответила матушка. Потом смягчилась и тихо добавила: — Это дневник, мой дневник. Сожги его прямо в обертке.

Потом круто повернулась и, словно колеблемая ветром, ушла, нетвердо ступая, внутрь дома.

Чтобы сжечь солому, понадобилось несколько минут. Когда последний пучок ее тлел, завивая синие струйки дыма, я наконец решила: взяв матушкин дневник, я потихоньку поднялась на второй этаж к себе в комнату и спрятала его в глубине книжной полки. Ночью снова поднялся ветер. Я выглянула в окно. Сад был залит необычно ярким светом луны. Ветер усилился. Казалось, будто волны прибоя дробятся о скалистый северный берег. Матушка и Садаё давно уснули, одна лишь я бодрствовала, не в силах сомкнуть глаза. Чтобы никто не вошел вдруг в комнату, я загородила дверь тяжелыми томами энциклопедии, потом опустила занавески на окне (даже проникавший в комнату лунный свет вызывал у меня безотчетный страх), зажгла настольную лампу и положила рядом с нею толстую тетрадь, в каких обычно пишут студенты. Это и был дневник моей матушки.

Дядюшка! Дядюшка Дзёсукэ!

Я подумала: надо воспользоваться случаем, иначе я никогда

не узнаю причину разрыва между отцом и матушкой. Честно говоря, я раньше не старалась ничего узнать об отце и ждала, что матушка сама мне все расскажет, когда я выйду замуж. Я лишь бережно хранила в памяти его имя: Рэйитиро Кадота. Но с той минуты, когда я увидала матушку в праздничной хаори, все сразу переменялось — в моем сердце стала расти горькая уверенность, что она уже не выздоровеет.

Случайно я услышала разговор родственников из Акаси о том, почему матушка была вынуждена расстаться с отцом. Когда он отправился в университет Киото писать диссертацию, мы — в ту пору мне исполнилось пять лет — с матушкой, бабушкой и служанкой остались в Акаси. Однажды в ветреный апрельский день в дверь постучала молодая женщина с грудным младенцем. Она вошла в гостиную, положила ребенка в токонома *, вытащила из принесенной ею небольшой корзины нижнее кимоно и, распустив оби **, стала при всех переодеваться. Матушка — она принесла поднос с чаем — застыла от изумления. Видимо, женщина эта была не в своем уме. Позднее я поняла, что хилый младенец, спавший в токонома, где лежали на полочке красные плоды нандины, был ребенком этой женщины и моего отца.

Младенец вскоре умер, а женщина выздоровела, вышла замуж за торговца из города Окаямы и живет теперь счастливо. Вскоре после случившегося матушка забрала меня и покинула дом в Акаси.

Потом, когда я уже училась в женском колледже, бабушка как-то сказала:

— Аяко поступила так сгоряча, но теперь ничего не поделаешь.

А я тогда подумала: наверно, матушка с ее чистой душой не могла простить отцу такую обиду. До семи лет я была убеждена, что отец умер. Да и теперь в глубине души я считаю, он мертв для меня. Я никак не могу представить себе от-

* Токонома — стенная ниша с приподнятым полом и полочками.

** Оби — широкий и длинный пояс для кимоно.

ца живым, а ведь в Хёго, всего в часе езды отсюда, ему принадлежит большая больница. Но хотя он на самом деле жив и здоров, для меня мой отец давно умер.

Я открыла матушкин дневник, и первым словом, которое я прочла, было... «преступление». Да, «преступление»! Оно повторялось много раз и было написано неровным почерком, совершенно непохожим на ее почерк. А внизу, словно придавленная громоздившимися друг над другом словами «преступление» и изнемогавшая под их тяжестью, была лишь одна фраза: «Боже, прости меня! Мидори, прости меня!» Мне показалось, будто все остальные слова на этой странице исчезли, и лишь одна эта фраза, словно внезапно нагрянувший злой дух, являла мне свой ужасный лик.

В страхе я захлопнула дневник. Какая это была жуткая минута. Вокруг царила тишина, слышался только громкий стук моего сердца. Я встала со стула, снова проверила, хорошо ли закрыты окно и дверь, и, вернувшись к столу, смело раскрыла дневник и дочитала его до конца, не пропустив ни единого слова. Об отце там не было ни строчки. Весь дневник — мне и во сне б не приснилось такое! — был посвящен вашим отношениям с матушкой. Она страдала, радовалась, молилась, теряла надежду, мечтала о смерти — да-да, она не раз намеревалась уйти из этого мира. В дневнике она писала: «Если Мидори узнает о наших отношениях с Дзёсукэ, я покончу с собой». Могла ли я предположить, что матушка, всегда радостно встречавшая Мидори и весело болтавшая с ней, так ее боялась?

Читая дневник, я поняла: целых тринадцать лет матушку не покидала мысль о смерти. Иногда по нескольку дней подряд, а то и по два-три месяца она не вела записей. С каждой страницы на меня глядело лицо матушки, над которой нависла тень смерти. «Ах, лучше умереть! Смерть разрешит все!» Почему она написала эти полные отчаяния слова? «Чего я боюсь, раз решила принять смерть? Смелее! Будь дерзкой, Аяко!» Что заставляло мою добрую матушку написать такое? Неужели любовь? То самое прекрасное, сверкающее чувство, именуемое любовью? Однажды Вы, дядюшка, подарили мне ко дню рождения книгу, где любовь уподоблялась нагой женщине

с распущенными волосами, которая горделиво стоит у чудотворного источника, прижав ладони к высокой груди с упругими, словно бутоны, сосками. Как непохожа на этот символ та любовь, что была между Вами и матушкой!

Когда я прочитала дневник, Мидори стала и для меня самым страшным человеком, а страдания матушки, опасавшейся, как бы Мидори не проникла в ее тайну, стали теперь и моими страданиями. Я стала бояться тетушки Мидори, которая так часто, сложив губки бантиком, целовала меня! Той самой тетушки Мидори, которую я любила, наверно, не меньше, чем матушку! Ведь это она подарила мне ранец, разрисованный крупными розами, когда я поступила в первый класс начальной школы в Асия! А когда летом нас отправили в оздоровительную школу на морском побережье в Юра, она подарила мне большой плавательный пузырь в форме чайки. Это она каждый день приносила мне подарки, заставляя учить наизусть сказку братьев Grimm «Мальчик с пальчик», которую я так хорошо прочитала на школьном вечере. Что бы ни случилось со мною в детские годы, рядом всегда оказывалась тетушка Мидори. Она была самой любимой матушкиной кузиной. Мидори и теперь прекрасно танцует, а когда-то не было среди нас равной ей в гольфе и маджонге *, в плавании и лыжных прогулках. И вот я стала больше всех бояться той самой тетушки Мидори, которая пекла чудесные сладкие пироги, умела веселиться сама и развлекать нас, приглашая молоденьких актрис из театра Такарадзука. Той, кто всегда казалась мне светлой и прекрасной, как распутившаяся роза!

Если на этом свете существует тайное предчувствие беды, то я однажды испытала нечто подобное, и касалось оно ваших отношений с матушкой. В прошлом году как раз в это время я шла с подружкой на электричку — мы должны были ехать в школу — и вдруг вспомнила, что забыла лома английскую книгу для внеклассного чтения. Уговорив подружку подождать меня на станции, я поспешила домой. Но у ворот вдруг остановилась: что-то мешало мне войти в дом. Утром матушка по-

* Маджонг — китайская настольная игра.

слала служанку за покупками и осталась дома одна. Я знала об этом и вдруг почувствовала тревогу, даже страх. Я стояла перед воротами, глядела на кусты рододендронов и колебалась: входить или нет? В конце концов так и не решившись войти, я без книги пошла обратно на станцию. Меня охватило тогда странное чувство: мне казалось, если я войду в дом и нарушу покой матушки, она будет недовольна и даже опечалена. Ощущая невыразимое одиночество, я шла по берегу реки Асия, отбрасывая носком камни, попадавшие под ноги. На станции я устало опустилась на деревянную скамью в зале ожидания, рассеянно слушая болтовню подруги.

Ни прежде, ни потом ничего подобного я не испытывала. Теперь я со страхом вспоминаю об охватившем меня тогда предчувствии беды. Кто знает, не снизошло ли и на Мидори столь же странное прозрение? Тем более что она сама не раз с гордостью утверждала, будто у нее, как у пойнера, удивительное чутье, благодаря которому она мгновенно разгадывает замыслы противника во время игры в карты. При одной мысли, что Мидори могла догадаться о вашей любви, я начинаю трепетать от страха. Но нет! Это просто мои глупые опасения. Ведь все уже кончено. Тайна сохранена. И матушка ушла в мир иной ради того, чтобы унести с собой эту тайну. Так я думаю.

Никогда не забыть мне тот зловещий день. Незадолго до агонии, не слишком долгой, но страшной — о ней невозможно вспомнить без содрогания, — матушка позвала меня к себе. Лицо ее было каким-то гладким, словно у куклы из театра Бунраку.

— Я сейчас выпила яд... — сказала она. — Я так устала. Жить больше нет сил.

Ее голос был чист, как небесная музыка, и казалось, она говорит не со мной, а через меня обращается к богу. В тот миг мне отчетливо послышался грохот рушащейся Эйфелевой башни из слов, нагроможденных друг на друга в ее дневнике... «Преступление»... Огромное здание преступления, простояв тринадцать лет, обрушилось на уставшую до изнеможения матушку. Я сидела не шелохнувшись. Взгляд ее был устремлен

куда-то вдаль. Вдруг, словно осенний ветер, пригибающий травы к земле, на меня нахлынуло необъяснимое чувство негодования. Пристально глянув на печальное лицо матушки, я сказала:

— Так.

Всего одно слово — точно речь шла о совершенно чужом человеке.

Сказала — и сердце похолодело, будто на него плеснули ледяной водой. Потом со странным, непонятным и мне самой безразличием я встала, вышла из гостиной и по длинному коридору направилась к телефону, чтобы позвонить Вам (именно в этот момент я услышала короткий крик умирающей матушки). Но после моего звонка пришли не Вы, примчалась Мидори. Матушка испустила дух, сжимая руку той, кого она так любила и так боялась. И Мидори накрыла белым платком ее лицо, с которого исчезло отражение печали и страданий.

Дядюшка! Дядюшка Дзёсукэ!

В ту первую ночь наших бдений у гроба усопшей царила невообразимая тишина. Ушли полицейские и врач, ушли соседи, приходившие проститься с матушкой. У гроба остались лишь Вы, Мидори и я. Никто не произносил ни слова. Казалось, мы все трое прислушиваемся к доносящемуся издалека негромкому плеску волн. Когда догорали поминальные свечи, мы, вставая по очереди, зажигали новые, потом ненадолго открывали окно, чтобы проветрить комнату, и, печально взглянув на фотографию усопшей, возвращались обратно. Когда наступал Ваш черед менять свечи. Вы горестно вглядывались в фотографию матушки, и тихая непонятная улыбка освещала Ваше скорбное лицо. В ту ночь мне не раз приходила в голову мысль, что матушка, прожившая такую горькую жизнь, все же была счастлива.

Было часов девять, когда я подошла к окну и вдруг заплакала. Вы положили руку мне на плечо, несколько минут постояли рядом и молча вернулись назад. Я плакала тогда не потому, что горевала из-за смерти матушки. Нет, я подумала о том, что она даже в свой последний час не посмела назвать Ваше имя, что не Вы поспешили на мой телефонный звонок, а Ми-

дори, и ощутила вдруг такую безысходную тоску... И любовь, которую вам обоим пришлось скрывать до самой смерти матушки, показалась мне такой же несчастной, как распятый лепесток, замурованный в подаренном мне стеклянном шаре. Я открыла окно и, глядя на усыпанное холодными звездами небо, пыталась сдержать слезы, но внезапно представила, как сейчас ее любовь поднимается к этому звездному небу и тихонько плывет меж холодных звезд; мне стало так горько, и я разрыдалась. Мне почудилось, будто сожаление об этой одиноко уплывающей к звездам любви столь велико, что с ним не может сравниться горе из-за смерти одного человека — моей матушки.

И снова заплакала я, когда ночью взяла в руки палочки — поест суси.

— Старайся держать себя в руках. Мне очень горько сознавать, что я не в силах тебе помочь, — тихо сказала тогда Мидори.

И я увидела: ее глаза тоже полны слез. Я посмотрела на увлажнившиеся прекрасные глаза Мидори и отрицательно покачала головой. Она, наверно, тогда не поняла меня. А ведь я заплакала от жалости к ней, Мидори. Глядя, как она раскладывает суси на четыре тарелки: Вам, себе, мне и покойной матушке, я вдруг подумала, что самая несчастная среди нас — Мидори, и зарыдала.

В ту ночь я плакала еще раз. Помните? Вы предложили мне отдохнуть, сказав, что завтра будет очень тяжелый день. Я легла в соседней комнате и мгновенно уснула. Среди ночи я вдруг проснулась вся в поту. Взглянув на часы, стоявшие на книжной полке, я поняла, что проспала почти час. В соседней комнате, где стоял гроб, по-прежнему царил тишина, время от времени нарушаемая шелканьем Вашей зажигалки. Потом Вы сказали:

— Пойди отдохни немного, я посижу один.

— Я не устала, а вам бы отдохнуть не мешало, — ответила Мидори.

Опять наступила долгая тишина, и я расплакалась. Вы, наверно, не услышали моих рыданий. Я подумала о том, что

Вы и Мидори находитесь сейчас в одной комнате с покойницей, но каждый из вас занят своими мыслями. И весь мир взрослых людей показался мне таким невыносимым, таким печальным и страшным, что я не могла сдержать горьких слез.

Дядюшка! Дядюшка Дзёсукэ!

Я без утайки написала Вам обо всем, что думала и чувствовала в те дни, надеясь, что Вы поймете мою просьбу: отныне мне бы не хотелось встречаться ни с Вами, ни с Мидори. Я больше не смогу, как это бывало прежде, доверчиво принимать знаки Вашего внимания, не смогу докучать Мидори своими капризами. Я хочу забыть о преступлении, погубившем мою матушку.

Дальше писать я не в силах.

Дом в Асия я решила поручить заботам дяди Цумуры.

А сама возвращусь в Акаси, открою там небольшое ателье и буду зарабатывать на жизнь собственным трудом. В завещании матушка написала, чтобы я во всем советовалась с Вами, но, если б она знала о нынешнем моем состоянии, она бы, наверно, отказалась от своих слов.

Сегодня я сожгла в саду матушкин дневник. От него осталась лишь горсточка жаркого пепла. Я пошла за водой, чтобы залить пепел, а когда вернулась, его уже не было: ветер куда-то унес его вместе с опавшими листьями, унес и развеял.

Пересылаю письмо матушки, адресованное Вам. Я нашла его на следующий день после Вашего отъезда в Токио, когда разбирала ее стол.

Письмо Мидори

Господин Дзёсукэ Мисуги!

Когда я обращаюсь к Вам так официально, мне начинает казаться, будто бремя лет исчезло (правда, мне всего лишь тридцать три), и сердце трепещет, словно я пишу любовное послание. Кстати, за последние десять с лишним лет я — иногда тайне от Вас, иногда открыто — писала много любовных

писем, но ни одно из них почему-то не было адресовано Вам. Мне и самой, если говорить всерьез, это кажется странным. А Вам?

Однажды супруга господина Такаги (Вы, наверно, помните эту даму: когда она накладывает слишком много косметики, в ее лице появляется что-то лисье), перемыывая косточки видных людей Осаки и Кобе, не обошла вниманием и Вас, причем в довольно резких выражениях: дескать, Мисуги женщинам не интересен, ибо не способен понять тонких движений женского сердца; сам он, конечно, может влюбиться, но женщина никогда не полюбит на всю жизнь подобного человека. Не стоит очень уж огорчаться — этот нелестный отзыв сорвался у нее с языка в минуту легкого опьянения, но кое в чем она, пожалуй, не так далека от истины. О нет, Вы не из тех людей, кто страдает от одиночества или приступов меланхолии, и в выражении Вашего лица преобладает не грусть, а разочарование. На все у Вас существует совершенно определенная точка зрения, которую Вы, само собой, считаете единственно верной. Почему-то эта Ваша самоуверенность вызывает раздражение, желание ее поколебать. Словом, человек Вы неинтересный, для женщин невыносимый и влюбляться в Вас бесполезно. Подумайте, почему ни одно из написанных мною любовных писем не адресовано Вам? Но все же мне это кажется странным. Хотя бы одно или два письма следовало отправить и Вам. Пусть даже они адресованы не Вам, но если предположить, что я писала их, думая о Вас, то, пожалуй, не так уж важно, кто их адресат. Разве не могла я, от природы застенчивая и наивная не по возрасту, стесняться писать своему супругу нежные письма и, думая о нем, отправлять их другим людям? Видно, я родилась под несчастливой звездой, с самого начала определившей мне такую судьбу. Несчастьем это было и для Вас.

Верно, мне не дано
Узнать Ваши светлые мысли.
Хочу подойти,
Но боюсь ненароком нарушить
Высокое это безмолвье.

Это стихотворение сложила я прошлой осенью, когда Вы сидели у себя в кабинете. Я попыталась выразить в поэтической форме тогдашнее свое настроение. Я вложила в эти слова чувства несчастной жены, которая боялась (вернее, хотела, но не решилась) нарушить Ваш драгоценный покой, когда Вы сидели у себя, рассматривая старинную фарфоровую чашу (ах, как бездушны, как бесчувственны Вы были!). «Лгунья!» — возможно, подумаете вы. Но это не так! Всю ночь напролет, играя в маджонг, я то и дело поглядывала украдкой в сторону Вашего кабинета. Правда, это стихотворение я тоже отдала не Вам, а потихоньку положила на стол в доме Тагами — того самого юного философа, который успел сделать блестящую карьеру и нынешней весной стал доцентом университета. Своей шалостью, как известно и Вам, я смутила душевный покой молодого ученого, и бульварные газеты трепали мое имя в разделе скандальной хроники, что доставило Вам неприятности. А я ведь всего лишь хотела чуть-чуть поколебать Вашу самоуверенность. Удалось ли мне это?

Впрочем, моя легкомысленная болтовня, наверно, лишь обостряет Вашу ко мне неприязнь, спешу посему перейти к главному.

Наш брак давно уже стал фикцией. Как по-вашему, не слишком ли он затянулся? Мне думается, Вы ощутите облегчение, обретя большую свободу. Все это, конечно, очень печально, но, если у Вас нет каких-либо веских возражений, не думаете ли Вы, что нам пора расстаться официально?

Сейчас, когда Вас попросили уйти в почетную отставку с занимаемых Вами важных постов (меня, правда, неслыханно удивило, когда я прочитала Вашу фамилию в списке предпринимателей, подвергшихся чистке), настал, пожалуй, самый удобный для Вас момент положить конец и нашим неестественным отношениям. Мои условия вкратце сводятся к следующему: меня вполне удовлетворили бы загородные дома в Такарадзука и Ясэ. Дом в Ясэ достаточно велик для меня, да и окружающий пейзаж мне по душе. Там я хотела бы поселиться. Дом же в Такарадзука я продала бы миллиона за два иен. Этой суммы мне хватило бы до конца моих дней. Считайте это моим послед-

ним капризом, моей единственной просьбой. Ведь за всю нашу совместную жизнь я не припомню случая, чтобы Вы меня чем-то побаловали. Таково мое, вероятно, неожиданное для Вас предложение; но, поверьте, оно вовсе не означает, что у меня на примете есть человек, которого я могла бы назвать любимым. И совершенно напрасны были бы Ваши опасения, будто кто-нибудь попытается воспользоваться моими деньгами. К сожалению, я до сих пор не встретила человека, коего не стыдясь могла бы объявить своим возлюбленным. Видно, и теперь, спустя десять лет, все еще сильно чувство первой радости, которое Вы доставили своей молодой жене. Сейчас, кстати, не так легко найти мужчину, отвечающего хотя бы двум требованиям: аккуратно подстриженного и стройного.

Однажды я прочитала, что в сирийской пустыне нашли обнаженного юношу, который жил вместе со стадом оленей. Как красив был он на фотографии, помещенной в газете! Как прекрасны были его застывший профиль под шапкой лохматых волос и стройные длинные ноги! Даже сегодня, когда я вспоминаю о нем, необычайный жар вспыхивает у меня в крови.

После того как я увидела фотографию этого юноши, все прочие мужчины показались мне невыносимо скучными и банальными! Так вот! Если у Вашей супруги на один-единственный миг и возникла мысль об измене, то лишь в ту минуту, когда она созерцала фото юноши-оленя. Стоит мне представить чистую, упругую кожу этого юноши, увлажненную ночной росой пустыни... Ах, едва я подумаю о необычайной судьбе этого юноши, сердце начинает бешено колотиться в груди.

Два года назад я увлеклась господином Мацуё — художником-модернистом. В ту пору о наших отношениях распространялись разные небылицы, но меня это нисколько не трогало. В Ваших глазах, когда Вы глядели на меня, я уловила некую печаль, что-то похожее на сострадание. Хотя, собственно, жалеть меня не было причины. И все же Ваш взгляд тронул мое сердце. Ваши глаза, хотя и уступали глазам юноши-оленя, были прекрасны. Почему же Вы не захотели сказать мне Вашим взглядом нечто большее? Но Вы не сделали этого, и мне ничего не оставалось, как отправиться в холодное ателье Мацуё и дать

согласие позировать ему. Я и теперь, кстати, ценю его как художника. По стилю он чем-то напоминает Утрилло. Но человек он никудышный. И если Вам можно было бы поставить сто баллов, то он тянет не более чем на пятьдесят. О да, он талантлив, но испорчен известностью. У него приятное лицо, однако в его облике не хватает какой-то изюминки. Он бывает просто смешон, когда самодовольно попыхивает своей трубкой.

А в начале минувшего лета я увлеклась жокеем Цумурой, выигравшим на кобыле Голубая Слава скачки на приз министерства сельского хозяйства и лесоводства. И тогда в Вашем взгляде я заметила уже не сострадание, а холодное презрение. Вначале, когда мы случайно встречались в коридоре, мне казалось, что это листья за окном зеленью отражались в Ваших глазах. И лишь позднее поняла, как я ошиблась, — в Вашем взгляде был огонь непримиримости. Какая оплошность с моей стороны! Пойми я это сразу, мне удалось бы подготовить свое сердце к любым Вашим взглядам. Увы, в ту пору все мои чувства, все увлечения были связаны с одним — с восторгом ощущения скорости! Ваша неприступная замкнутость, Ваше стремление скрыть свои истинные чувства были так недосыгаемы и непонятны! Как мне хотелось хоть раз показать Вам Цумуру, когда он летит на Голубой Славе, далеко обогнав соперников. Вы и сами, я уверена, не остались бы равнодушны, глядя сквозь очки на это милое, сосредоточившее все свои силы ради одной лишь единственной цели существо (я имею в виду, конечно, не Голубую Славу, а жокея Цумуру).

Так вот, одного моего взгляда было достаточно, чтобы этот уже избалованный успехом двадцатидвухлетний юноша проявил неслыханную волю к победе и даже дважды ее добился. Мне прежде не доводилось видеть подобного темперамента. Он жаждал моей похвалы, но забывал обо всем на свете, в том числе и обо мне, едва вскакивал на свою каурюю Голубую Славу и целиком отдавался демону скорости. Вот в такие минуты я ощущала всю полноту жизни и без сожаления отдала бы ему три бриллианта, сохранившиеся у меня еще с довоенного времени. Но юный жокей был привлекателен, лишь пока скакал на Голубой Славе. Едва ступив на землю, он превращался в

неотесанного мальчишку, который толком не разбирается даже во вкусе кофе. И все же мне было приятнее прогуливаться с этим безрассудным смельчаком, закалившим свою волю на скачках, чем с литератором Сэноо или бывшим леваком Мицуя.

Никаких глубоких чувств я к нему не питала и с легким сердцем сосватала ему восемнадцатилетнюю танцовщицу с пухлыми губками, которой я тоже симпатизировала, и даже помогла им устроить свадьбу.

Но кажется, из-за своей болтовни я позабыла о главном. Так вот, мне все же не хотелось бы, поселившись в Ясэ, стать затворницей. И я задумала выращивать там цветы. Говорят, на цветах можно прилично зарабатывать, продавая их в торговых рядах Сидзё. Полагаю, с помощью кормилицы, молодой служанки и двух девушек, знающих толк в цветоводстве, можно без особого труда вырастить сотню-другую гвоздик. На какое-то время мужчинам доступ туда будет закрыт. Мужской дух нам несколько приелся. Поверьте, я не кривлю душой. Отныне я серьезно намереваюсь начать новую жизнь и надеюсь найти в ней истинное счастье.

Вас, наверно, удивит столь неожиданная просьба о разводе. Нет, нет! Скорее Вам должно показаться странным, что я до сих пор не заговаривала о нем. Да и я, оглядываясь на прошлое, с горечью думаю о том, как могли мы прожить вместе десять с лишним лет. Правда, меня упрекали в дурном поведении, и у окружающих, может быть, сложилось впечатление, будто мы странная пара. И все же наша репутация в обществе не была запятнана. Иногда нам даже оказывали честь, приглашая в сваты. Нет, тут Вам, пожалуй, не в чем меня упрекнуть. Скорее я заслужила похвалу, не правда ли?

Как все-таки трудно писать прощальное письмо! Неприятно проливать слезы, но не менее неприятно выглядеть развязной. Хочется, чтобы мое письмо помогло нам расстаться благородно, не причиняя друг другу лишней боли. Но ничего, по-моему, не выходит, и я, может быть, кажусь Вам ужасно глупой, когда Вы читаете эти строки. Что поделать! Кому под силу писать о разводе красиво? Поэтому мне придется перейти на официальный тон, наиболее подходящий для письма о разводе. И не

сердитесь, если конец моего письма будет Вам неприятен, ибо я решила защитить себя тоже броней равнодушия.

Все началось в феврале тысяча девятьсот тридцать четвертого года. Часов около девяти утра я выглянула из окна своего номера на втором этаже отеля «Атами» и увидела Вас. Вы были в сером костюме и неторопливо шли вдоль крутого скалистого берега. Ах, как давно это было! Тот день канул в небытие, как сон. Успокойтесь и читайте дальше. Вскоре Вас догнала высокая женщина в красивой накидке в серо-голубую полоску, расшитой крупными цветами татарника. О, как больно уколола меня в сердце эта накидка! Не думала я, что мое предчувствие оправдается с такой точностью. Чтобы проверить его, я приехала в Атами вечерним поездом. Всю ночь я не сомкнула глаз, а в голове все время вертелась одна старинная фраза: «Если это сон — очнись!» В ту пору мне было двадцать лет (столько же, сколько теперь Сёко). Для наивной, неопытной молоденькой женщины, которая только что вышла замуж, это был слишком тяжелый удар. Я позвонила и попросила недоумевающего коридорного немедленно принести счет. Я не хотела оставаться здесь ни одной лишней секунды и, расплатившись, тотчас покинула гостиницу. Некоторое время я стояла на улице, пытаюсь унять жгучую боль в груди и раздумывая, пойти ли мне в сторону моря или на станцию. Наконец я сделала несколько шагов к морю и снова остановилась в нерешительности. Долго я глядела на сверкавшее в лучах солнца зимнее море, напоминавшее своим цветом выдавленную из тюбика берлинскую лазурь, потом повернулась к нему спиной и решительно зашагала по дороге на станцию. Если подумать, я с той поры все шла и шла по этой дороге, она-то и привела меня к нынешнему дню. Пойди я тогда на берег моря, где стояли Вы, сегодня, наверное, все было бы по-иному. Но, к счастью или к несчастью, я этого не сделала. Теперь, кажется мне, это был самый роковой перекресток в моей жизни.

Почему я тогда не пошла к морю? Меня остановило сознание, что я ни в чем не могу сравниться со своей сестрой — красавицей Аяко: ни жизненным опытом, ни познаниями, ни талантом, ни умением элегантно держать кофейную чашечку,

ни пониманием литературы и музыки, ни тонкостью пользования косметикой. О, это самоунижение! Самоунижение двадцатилетней жены, которое можно изобразить на картине лишь чистой линией. Когда погружаешься в студеное море, замираешь, ибо каждое движение во сто крат усиливает ощущение холода. Приходилось ли Вам это испытывать? Вот и я тогда боялась шевельнуться. И лишь много позднее я решила: раз он меня обманывает, отплачу ему тем же.

Однажды во время экскурсии я вместе с бывшими школьными подругами вошла в зал ожидания на станции Санномия и едва успела выбежать наружу, потому что заметила там Вас и Аяко. Было это спустя год после того, как я увидела вас из окна отеля «Атами».

Никогда не забыть мне и вечер, наполненный пением цикад, когда я бесконечно долго стояла перед плотно закрытыми, словно створки раковины, воротами дома Аяко, глядела на мягкий свет, струившийся из окна второго этажа сквозь щелку между гардинами, и никак не решалась протянуть руку к звонку. Не помню, была тогда осень или весна. У меня вообще плохая память на времена года. И еще много, очень много могла бы я Вам поведать такого, от чего Вы застонали бы. Но я хранила молчание и не пыталась что-либо предпринять. Даже тогда, в Атами, я не пошла следом за Вами к морю. Даже тогда! И вот что странно: когда перед моими глазами внезапно всплывал тот сверкающий, похожий на берлинскую лазурь кусочек моря, стихала в сердце жгучая боль, которая чуть не свела меня с ума, и на меня снисходило умиротворение.

Не скрою, в моей жизни были долгие месяцы, когда я находилась на грани сумасшествия, но время — прекрасный целитель, оно разрешило все проблемы наилучшим образом.

Подобно тому как остывает раскаленный кусок железа, остывали и наши отношения. Чем холодней становились Вы, тем холодней становилась и я, не уступая Вам в этом ни на йоту. Теперь отношения между нами подобны соприкосновению заиндевевших ресниц. Семья? Нет, это теплое, человеческое слово здесь неуместно! Более подходящим было бы слово «крепость» — думаю, Вы с этим согласитесь. Запершись в этой кре-

пости, Вы обманывали меня, а я — Вас (но Вы начали первый!). В какие же печальные сделки вступают люди между собой! Вся наша жизнь была построена на двух тайнах, которые мы хранили друг от друга. На мои недопустимые выходки Вы глядели иногда неодобрительно, иногда с презрением или с печалью во взоре, но всегда делали вид, будто ничего не замечаете. Сколько раз я, нежась в ванной, неприлично громко приказывала служанке принести сигареты; в гостиной или в коридоре неряшливо рассыпала пудру; поговорив с незнакомым мужчиной по телефону, вальсировала по комнате; приглашала актрис из Такарадзука, угощала их и фотографировалась вместе с ними; в день своего рождения заставляла даже служанок украшать себя лентами; приглашала студентов и устраивала шумные попойки. Я поступала так совершенно сознательно, понимая, что все это Вам очень неприятно. Ах, если бы Вы хоть раз всерьез упрекнули меня! Нет, Вы не сделали этого, не могли сделать. И между нами не вспыхивали ссоры. В нашей крепости царила тишина, лишь окружавший нас воздух, словно подхваченный ветром пустыни, со странным холодным шелестом и шипением уносился неведомо куда. Почему Вы, привыкший охотиться на диких голубей и фазанов, не сумели вскинуть свое охотничье ружье и выстрелить мне в сердце? Почему Вы, начав обманывать меня, не стали это делать более откровенно и жестоко? Не довели обман до конца? Разве Вы не знаете, что женщина может простить мужчине любую ложь?

Более десяти лет я терпела подобную жизнь и думала: когда-нибудь да придет ей конец. Что-то случится! Что-то должно произойти! Слабая, но упорная надежда все время теплилась в глубине моего сердца. Каким будет этот конец? Я представляла его себе двояко: либо я прильну однажды к Вашей груди и тихо закрою глаза, либо изо всей силы, так, чтобы фонтаном брызнула кровь, вонжу в Вашу грудь нож — тот самый, который, помните, Вы привезли мне из Египта. Как Вы думаете, чего я больше желала? Честно говоря, я и сама не знаю.

А помните Вы случай, который произошел лет пять назад после Вашего возвращения из поездки в южные страны? Меня

не было дома два дня. На третий день я пришла слегка под хмельком. Вы уезжали на несколько дней в Токио по делам, и я была уверена, что Вы еще не вернулись. Но Вы неожиданно оказались дома — сидели в столовой и чистили ружье. Я поздоровалась и сразу же вышла на веранду, опустилась на диван спиной к Вам и подставила прохладному ветру разгоряченное лицо. Тент, натянутый над обеденным столом в саду, служил своеобразным экраном, и в стеклянной двери террасы отражалась часть комнаты, так что я, не оборачиваясь, могла Вас видеть. Устав до изнеможения после длившихся двое суток шумных развлечений, в мрачном настроении я сидела на диване, не в силах пошевелиться, и бездумно глядела на Ваше отражение. Вычистив ствол, Вы закрепили его на ложе и несколько раз приподняли и опустили ружье. Потом, прижав приклад к плечу, Вы слегка прищурили глаз и прицелились. Прицелились в меня!

Может быть, Вы решили меня застрелить? И хотя ружье не было заряжено, мне вдруг захотелось узнать: возникло ли у Вас в тот момент желание убить меня? Я сделала вид, будто ничего не замечаю, и закрыла глаза. Интересно, куда Вы целились — в плечо, в шею, в затылок? Я с нетерпением ждала, когда в тишине громко щелкнет курок, потому что решила: в тот миг, когда раздастся щелчок, я упаду с дивана. С радостным трепетом, какого я не испытывала уже много лет, я ожидала этого мгновения, чтобы сыграть задуманную сцену.

Я приоткрыла глаза и увидела: Вы по-прежнему в меня целитесь. Некоторое время я продолжала сидеть неподвижно, потом вдруг — не знаю почему — резко обернулась и взглянула уже не на Ваше отражение, а на Вас самих. В ту же секунду Вы отвели ружье в сторону и прицелились в куст впервые расцветшего в это лето рододендрона, который я привезла из Амаги. Раздался легкий щелчок. Почему Вы тогда не выстрелили в свою неверную жену? В тот момент она вполне этого заслуживала. Вы так хотели убить меня, но не решились спустить курок! Ах, если бы Вы тогда спустили курок, не простили мне мою неверность, пронзили бы ненавистью мое сердце! Может быть, я в раскаянье кинулась бы Вам на грудь... а может быть,

наоборот, решила бы показать Вам, что тоже умею метко стрелять. Но Вы не сделали этого, и я, отведя взгляд от рододендрона, который Вы избрали мишенью вместо меня, и нарочно покачиваясь, пошла в свою комнату, напевая то ли «Под крышами Парижа», то ли другую модную песенку.

С тех пор прошло несколько лет, однако удобного случая положить конец нашим отношениям все не представлялось. В прошлое лето лилии в саду расцвели невиданно ядовитым красным цветом. Глядя на них, я лелеяла надежду на какие-то перемены...

В последний раз я была у Аяко накануне ее смерти. В тот день я вновь, спустя десять с лишним лет, увидела на ней накидку, которая под сверкающими лучами утреннего солнца в Атами на всю жизнь, как страшный сон, запечатлелась в моей памяти. Крупные лиловые цветы татарника выглядели совсем как живые. Казалось, эта накидка тяжким грузом давит на ее слабые и столь дорогие Вашему сердцу плечи. Я вошла в комнату, села напротив Аяко и воскликнула: «Как вы прекрасны!» Сперва я попыталась сдержаться, но потом подумала: зачем она надела эту накидку и сидит в ней передо мной? В то же мгновение кровь бешено застучала в висках, и я уже ничего не могла с собой поделать. Своеволие женщины, отнявшей супруга у другой, и долготерпение потерявшей его двадцатилетней жены когда-нибудь должны были быть взвешены на весах справедливости. Видимо, этот час настал. И я открыла тайну, свято хранимую более десяти лет, и тихо положила ее перед лиловыми цветами татарника.

— Знакомая накидка, — сказала я.

Аяко едва слышно вскрикнула и подняла на меня глаза. Наши взгляды встретились. Я глядела ей в глаза и не собиралась опускать взгляд — это должна была сделать она.

— Ты была в этой накидке, когда ездила вместе с Мисуги в Атами. Извини, я видела вас в тот день, — сказала я.

Кровь отлила от лица Аяко, и оно стало белым как бумага. Ее губы дернулись, точно она силилась что-то сказать, но были бессильны вымолвить хоть слово. Потупясь, она устремила взгляд на свои белые руки, сложенные на коленях.

И тогда я ощутила такую радость, словно меня освежили тугие струи благодатного дождя: вот она — минута, которой я ждала столько лет! И одновременно где-то в глубине души я с невыразимой тоской осознала, какой я вынуждена избрать конец. Мы долго сидели так друг против друга. Я готова была окаменеть и бесконечно глядеть на Аяко. Представляю, как ей хотелось, чтобы я исчезла! Потом она подняла восковое лицо и поглядела на меня спокойно. Я поняла: она скоро умрет. В это мгновенье смерть вошла в Аяко. Иначе она не могла бы так спокойно глядеть на меня. Солнце выглянуло из-за туч, и в темном до той поры саду сразу стало светло. Резко оборвались звуки рояля, доносившиеся из соседнего дома.

— Не огорчайся, я не таю зла. Могу отдать тебе Мисуги навсего! — Так сказала я и вышла на веранду, где оставила принесенный для Аяко букет белых роз. Я вернулась с розами в комнату, поставила их в вазу на книжной полке, слегка расправила стебли, придав букету красивую форму, потом взглянула на поникшую Аяко и снова подумала: наверно, вижу ее в последний раз. (Какое страшное предчувствие!) — Не принимай все так близко к сердцу, — сказала я на прощанье. — Ведь я тоже обманывала тебя больше десяти лет. Теперь мы квиты. — И я невольно рассмеялась. Какое это было удивительное молчание! С самого начала Аяко не произнесла ни единого слова. Она сидела так тихо, словно у нее остановилось дыхание. Суд кончился. Теперь она была вольна поступать как ей вздумается. Больше мне здесь делать нечего, решила я, быстро встала и вышла из комнаты.

— Мидори! — услышала я за спиной голос Аяко. Это было первое слово, которое она произнесла. Но я не остановилась.

— Что с вами, тетушка? У вас в лице ни кровинки! — воскликнула Сёко. Она несла Аяко чай, и я столкнулась с ней в коридоре. Только тогда поняла я, как взволнована сама.

Теперь Вам ясно, почему я должна с Вами расстаться, вернее, почему Вы не можете больше оставаться со мной. Прошу прощения за то, что позволила себе столько дерзостей в этом длинном письме. Видно, нашим невеселым отношениям, длившимся столько лет, пришел конец. Вот, пожалуй, и все,

что я хотела сообщить Вам. Надеюсь, если это возможно, получить от Вас согласие на развод еще во время Вашего пребывания в Идзу.

Позвольте напоследок сказать Вам, что сегодня я вместо служанки убирала Ваш кабинет — уж не вспомню, когда я делала это в последний раз. Меня поразила царившая там тишина. Какое спокойное и приятное место для размышлений. Удобное кресло словно приглашает опуститься в него, а цветы на вазе, созданной Нинсэм *, так и пламенеют. Это письмо я написала в Вашем кабинете. Картина Гогена, мне кажется, не соответствует его атмосфере. И я ее самовольно сняла, чтобы — если Вы позволите — украсить ею Ваш дом в Ясэ. Вместо Гогена я повесила в кабинете зимний пейзаж Вламinka. Я также обновила содержимое Вашего гардероба: повесила туда три зимних костюма и подобрала к ним на свой вкус три галстука. Не знаю, понравятся ли они вам.

Письмо Аяко

Когда Вы получите это письмо, меня уже не будет. Не могу себе представить, что такое смерть, но в одном я уверена: она унесет с собой из этого мира и мои радости, и мои страдания. Вместе со мной уйдут и бесконечные мысли о Вас, и тревога за будущее Сёко, а мои тело и душа превратятся в ничто.

Вы прочитаете это письмо спустя несколько часов, а может быть дней, после того, как я умру. И тогда Вы узнаете о тех нескончаемых думах, которые осаждают сейчас меня — еще живую. Это письмо расскажет Вам, так же как могла бы рассказать и я, о том, чего Вы даже не подозреваете. И Вы будете слушать мой голос, разговаривать со мною, словно с живой, удивляться, переживать, бранить... Вряд ли у Вас на глаза навернутся слезы, но лицо Ваше станет таким грустным, каким его видела только я (даже Мидори не знает, что у Вас

* Нинсэй — выдающийся гончар XVII в.

может быть такое лицо!). И Вы скажете: «Какая же ты глупенькая!» Я сейчас удивительно ясно представляю себе Ваше лицо и слышу Ваш голос.

Пока Вы читаете это письмо, моя жизнь, хотя я буду уже мертва, незаметно возродится в его строках: она вспыхнет в тот миг, когда Вы вскрыете конверт и увидите первое слово, и продлится, наверно, пятнадцать — двадцать минут, пока Вы дочитаете последнюю фразу. Она вновь, словно я и не умирала, проникнет во все уголки Вашего существа, наполнит Ваше сердце воспоминаниями. Посмертное письмо... Какие странные слова! Столь же странной покажется Вам и моя недолгая жизнь, заключенная в его строках. Но за этот краткий миг я хочу рассказать Вам правду. Я полна желаний открыть Вам истину. Страшно в такую минуту говорить об этом, но знайте: живой Вы никогда не знали меня такую, какова я есть. Только это письмо покажет Вам, какой я была на самом деле...

До сих пор у меня перед глазами омытые дождем деревья на горе Тэнно в Ямадзакі в алом убранстве осенних листьев. Ах, как это было красиво! Мы пережидали дождь, приютившись под козырьком старых ворот перед чайным домиком Мёкиан, и с восхищением глядели на гору Тэнно, возвышавшуюся позади станции. Злую шутку сыграл с нами этот клонившийся к вечеру осенний день. То и дело начинал моросить мелкий дождик. Сквозь его сетку горы, куда мы собирались подняться, казались сказочно красивыми. С того дня минуло тринадцать лет, но до сих пор жива в моем сердце память о необыкновенной красоте деревьев в багряном уборе осени.

В тот день мы впервые остались вдвоем. Вы возили меня по окрестностям Киото, и я изнемогала от усталости. Наверно, устали и Вы. Вы все время говорили мне всякие глупости, вроде того, что любовь — это увлечение, что Вы увлекаетесь редкими вазами, и в этом ничего нет плохого, что Вы увлеклись мною, и в этом тоже ничего худого не видите. И еще Вы говорили, будто только нам двоим по-настоящему открылась осенняя красота горы Тэнно, мы почувствовали ее одновременно и теперь обратного пути нет — все предопределено и непоправимо. Увещевали меня, как капризного ребенка, даже грозили.

В тот день я всеми силами стремилась отдалиться от Вас, но Ваши, казалось бы, нелепые сравнения и пустая болтовня сожгли мое сердце. Ваша бесконечная тоска, скрывавшаяся за резкими выражениями и угрозами, расцвела во мне цветами счастья, ибо я поняла, что любима.

Как просто и легко я, не простившая своему мужу Кадоте его единственный проступок, шла на измену!

В Атами, когда мы остались вдвоем в отеле, Вы первый сказали: станем преступниками! Вы помните? Была ветреная ночь, и неплотно закрытые ставни обращенного к морю окна все время поскрипывали. Посреди ночи Вы решили их закрепить и открыли дверь. Тогда я увидела далеко в море горящую рыбацью лодку. Она пылала ярко, словно сигнальный костер. Наверно, в той лодке люди терпели бедствие, и смерть уже глядела им в глаза. Но мы не испытывали ужаса, нас потрясла лишь красота этого зрелища. Когда Вы захлопнули дверь, меня охватило внезапное беспокойство. Я вновь отворила ее, но рыбацья лодка, очевидно, уже сгорела, и перед моими глазами простиралась лишь темная гладь моря без единого огонька. До той ночи я в глубине души еще надеялась найти в себе силы, чтобы расстаться с Вами, но после пожара на море меня охватило странное чувство неизбежности происходящего. Помните? Вы сказали: «Станем преступниками, будем всю жизнь обманывать Мидори», и я не колеблясь ответила: «Тогда уж станем великими преступниками и будем обманывать не только Мидори, а всех людей, весь мир». И впервые с тех пор, как мы начали тайно встречаться, я крепко уснула.

В ту ночь мне почудилось, будто судьба сгоревшей на море рыбацья лодки — это судьба нашей любви, от которой уже нет спасенья. У меня и теперь, когда я пишу Вам свое прощальное письмо, пляшет перед глазами яркое пламя, пожирающее суденышко среди ночного мрака. Тот пожар как бы воплотил в одном мгновенье мучительные страдания, испытываемые женщиной в этом зыбком мире.

Стоит ли дальше погружаться в воспоминания? Ведь им не будет конца! За прошедшие тринадцать лет я испытала немало горя и мук. И все же я была счастливее всех на свете. Убаюки-

ваемая волнами Вашей огромной любви, я наслаждалась счастьем сверх всякой меры.

Днем я перелистала дневник. В нем часто повторялись слова: «смерть», «преступление», «любовь». Они вновь напомнили мне нелегкие годы, сквозь которые мы с Вами прошли. И все же, положив дневник на ладонь, я ощутила лишь тяжесть любви и счастья. Меня все время преследовало чувство вины за содеянное преступление. Каждый день надо мною витала тень смерти, и, взирая на нее, я повторяла: когда Мидори узнает обо всем, я умру; если Мидори все станет известно, я смертью искуплю свою вину. Вот как велико и невозвратно было мое счастье!

Ах, кто бы мог предположить, что помимо той, которую знали Вы, существовала еще одна я — другая (Вам такая фраза, наверно, покажется надуманной, но не знаю, как выразить мысль по-иному). Оказывается, во мне жила еще одна женщина, а я ничего о ней не знала. Да, это была еще одна я, о существовании которой Вам и во сне не снилось.

Однажды Вы сказали, что в каждом человеке живет своя змея. Помните? У Вас была назначена встреча с профессором Киотоского университета Такэдой. Пока Вы с ним беседовали, я, чтобы убить время, стала разглядывать заспиртованных змей в стеклянных шкафах, которые стояли в конце длинного мрачного коридора. Зрелище было не из приятных, и у меня испортилось настроение. Спустя полчаса Вы вышли из кабинета профессора и, указывая на змей, шутливо сказали: «Эта змейка — Аяко, эта — Мидори, а вот эта — моя. У каждого человека есть своя змея, и пугаться их не стоит». Та, которая жила в Мидори, была небольшой светло-коричневой змейкой из южных стран. Моя змея была вся в белых крапинках с острой, как шило, головкой. Ее привезли из Австралии. Ах, зачем Вы сказали тогда, что в каждом человеке живет змея? Сказали — и забыли, а мне Ваши слова запали в душу, и с тех пор я нередко задумывалась: что же, собственно, представляет собой эта змея внутри человека? Иногда мне казалось, будто она олицетворяет упрямство, иногда — ревность или рок.

Я и теперь не понимаю, что такое эта змея, но во мне, Вы сами сказали, такая змея жила. Ибо как иначе можно на-

звать ту, другую, которую я не знала, но которая была частью моего существа? И она впервые явилась мне сегодня.

Это случилось во второй половине дня. Когда Мидори пришла меня проведать, я была в той самой накидке, которую Вы привезли мне из Мито. В молодости я ее очень любила. Мидори вошла в комнату, увидала на мне накидку и... остолбенела. Она хотела что-то сказать, но, видимо, сдержалась, и мы некоторое время молча глядели друг на друга. Я нарочно не заговаривала первой, радуясь, что даже Мидори поразил мой необычный наряд. Но вдруг Мидори тихо сказала:

— В этой накидке ты была, когда ездила вместе с Мисуги в Атами. Я видела вас в тот день.

Она страшно побледнела, и ее слова прозвучали так, словно она хотела пронзить меня ими, как кинжалом.

В первую минуту я ничего не поняла. Но когда до меня дошел смысл сказанного, я инстинктивно плотнее запахнула накидку и замерла.

Значит, она все знала! Знала уже много лет! Меня охватило странное спокойствие: будто на закате я гляжу с безопасного места на море, и по нему катится к берегу высокий вал прилива. Мне захотелось взять Мидори за руку, утешить.

Вот оно и пришло — мгновенье, которого я так боялась, но я почему-то не испытала страха. В единый миг была сорвана завеса с тайны, а ведь мы хранили ее тринадцать лет, но за ней скрывалась не смерть, о которой я столько думала, а тихое и — как бы это сказать поточнее? — удивительное отдохновение. Исчезло время, многие годы не дававшее мне покоя, но его сменила пустота, и стало так грустно, что захотелось плакать. Меня ошеломило чувство полного раскрепощения. В оцепененье глядела я в глаза Мидори, но ничего не видела перед собой, не слышала ни единого ее слова.

Когда я пришла в себя, Мидори уже не было.

— Мидори, — позвала я ее. Зачем? Сама не знаю. Может быть, мне хотелось, чтобы она еще долго, бесконечно долго сидела передо мной. Скорее всего, если б она вернулась, я безо всякого смущения сказала бы ей: «Отдай мне Мисуги, и пусть он станет моим законным мужем». А может, столь же прямо

заявила бы обратное: «Пришло время вернуть Мисуги тебе».

Мне и самой неясно, что сказала бы я, вернись тогда Мидори. Но она не пришла на мой зов.

Раз Мидори узнала правду, я умру! Преступление, преступление, преступление! К чему это бессмысленное сознание собственной вины? Неужели человек, однажды продавший душу дьяволу, уже никогда от него не освободится? Неужели я на протяжении тринадцати лет обманывала бога и даже самое себя? Так размышляла я. Потом крепко уснула. Меня разбудила Сёко. Я открыла глаза и ощутила такую боль во всем теле, что боялась пошевелиться. Казалось, будто на меня разом навалилась усталость, накопившаяся за тринадцать лет. У моего изголовья сидел дядя из Акаси. Вы с ним однажды встречались. Он заехал меня проведать по пути в Осаку, куда направлялся по делам. Полчаса он болтал без умолку, потом спохватился, боясь опоздать на поезд, и стал прощаться. Уже с порога, надевая ботинки, он сказал:

— Знаешь, Кадота женился.

Кадота... Впервые за много лет я вновь услышала фамилию мужа, с которым рассталась. Дядя упомянул об этом как бы между прочим, но меня его новость взволновала.

— Когда? — спросила я и сама почувствовала, как дрожит мой голос.

— Кажется, месяц или два назад. Говорят, он построил себе в Хёго дом. Рядом с больницей.

— Вот как? — с трудом произнесла я.

Проводив дядю, я, едва волоча ноги, вернулась в гостиную. Внезапно закружилась голова, и, чтоб не упасть, я ухватилась за спинку стула. Постепенно силы возвратились ко мне, и я сквозь стеклянную дверь посмотрела наружу: сильный ветер раскачивал деревья, но до меня не доносилось ни звука. Казалось, будто я гляжу сквозь стекло аквариума на некий подводный мир.

— Конец, — сказала я себе, толком не понимая, что я имела в виду.

— Чему конец? — раздался голос Сёко. Я даже не заметила, как она вошла в комнату.

— Сама не знаю, — ответила я и почему-то засмеялась.

— Какие глупости вы говорите, матушка. Ложитесь-ка лучше в постель.

Поддерживаемая Сёко, я кое-как добралась до постели. У меня было такое ощущение, словно прорвалась плотина и все вокруг рушится. Я оперлась рукой о подушку и крепилась, пока Сёко была в комнате. Но едва она вышла на кухню, как слезы потоком хлынули из моих глаз.

Я и представить себе не могла, что женитьба Кадоты так больно меня ранит. Не помню, сколько прошло времени, пока я сквозь стеклянную дверь не увидела Сёко — она жгла в саду опавшие листья. Солнце уже зашло, и наступил удивительно тихий вечер.

— А, уже жгут! — пробормотала я, как будто заранее знала о чем-то. Я встала с постели и вытащила из ящика стола спря-танный там дневник. «Ну конечно же, это судьба — Сёко развела в саду костер, чтобы я сожгла свой дневник», — подумала я, даже не заметив, сколь нелепа была эта мысль. Взяв дневник, я вышла на веранду, села в плетеное кресло и начала его перелистывать. На одной из страниц в ряд выстроились слова: преступление, смерть, любовь... Сколько раз в течение тринадцати лет повторяла я эти слова в дневнике! До вчерашне-го дня они ослепительно сверкали и переливались живыми, яр-кими красками, а теперь разом поблекли, и я без всякого сожа-ления подумала о том, что через минуту они сгорят в костре и лиловым дымком поднимутся в небо.

Отдавая Сёко дневник, я приняла решение умереть. Жить дальше не было сил.

После того как я рассталась с Кадотой, он жил один. Навер-но, ему просто не представлялось удобного случая жениться: то учеба за границей, то война. Во всяком случае, уйдя от меня, он не привел к себе в дом новую жену. И для меня это было опорой в жизни, хотя я сама об этом не подозревала. Так, по крайней мере, кажется мне теперь. Поверьте, с тех пор как мы расстались с Кадотой, я с ним не встречалась, да и желания видеть его у меня не было. Кроме отрывочных слу-хов, которые передавали мне родственники из Акаси, я о нем

ничего на знала, даже имя его вычеркнула из памяти...

Спустилась ночь. Сёко и служанка давно уснули, а мне не спалось. Я достала с книжной полки альбом с фотографиями — моими и Кадоты.

Однажды, несколько лет назад, Сёко, разглядывая этот альбом, сказала:

— Матушка, как интересно наклеены здесь фотографии: ваше лицо и лицо отца соприкасаются...

— Не говори глупостей, — рассердилась я тогда.

Сёко сказала это без всякой задней мысли, но слова ее запали мне в душу, и с той поры я каждый год со странным чувством перелистывала этот альбом. В самом деле, фотографии мои и Кадоты, снятые еще во время нашего медового месяца, были наклеены на соседних страницах, и, когда я закрывала альбом, наши лица прижимались друг к другу. И тем не менее за все эти годы у меня ни разу не мелькнула мысль переклеить фотографии или вовсе вынуть их из альбома. Но сейчас пришло время это сделать. Я сорвала со страницы фотографии Кадоты и вложила их в альбом Сёко: пусть на долгие годы сохранится для нее облик отца, когда он был еще молод.

Теперь Вам понятно, какой была та — другая я, о которой я и сама не подозревала. Вот какой оказалась маленькая австралийская змейка с белыми крапинками, что, как Вы однажды сказали, таилась во мне. А та, светло-коричневая, вселившаяся в Мидори, с невинным видом хранила в себе тринадцать лет нашу тайну, которую слизнула в Атами алым, как солнечный протуберанец, языком и проглотила.

Так что же такое — эта змея, живущая в каждом человеке? Может, олицетворение строптивости, ревности, рока, когда они сливаются воедино внутри тебя и нет сил им противиться? Жаль, мне уже не представится случая спросить Вас об этом. Как печально, что человек вынужден носить в себе свою змею! Помнится, в какой-то книге я наткнулась на слова «страдания жизни». Сейчас, когда я пишу это письмо, кажется, будто моего сердца коснулось нечто тоскливое и холодное, от чего нет спасения. Что же это такое, таящееся в человеке, — невыносимо отвратительное и потому невыносимо печальное?

Написала уже так много и вдруг заметила: я почти ни единым словом не обмолвилась о том, какова же я на самом деле. Чем дальше пишу я, тем слабее становится моя решимость и кажется, будто я все время избегаю самого страшного.

Какая это благовидная лазейка — «другая я, о которой сама не знала»! Несколькими строками выше я Вам сообщила, будто сегодня впервые обнаружила в себе змейку с белыми крапинками и лишь сегодня она явилась мне.

Ложь! Так утверждать — значит, обманывать Вас! Я, несомненно, давным-давно знала о ее существовании.

Помню страшное зрелище, когда ночью шестого августа весь район между Осакой и Кобе превратился в море бушующего огня. В ту ночь мы с Сёко прятались в щели, выкопанной Вами. Однажды, когда, в который уж раз, вверху послышался гул «летающих крепостей», я внезапно ощутила страшную тоску и безысходность и никак не могла с ними совладать. Невыразимая печаль разрывала мне сердце. Она гнала меня прочь из щели, и я, еле переставляя непослушные ноги, вылезла наружу... И увидела Вас.

По всему небу полыхало красное зарево. Рядом с Вашим жилищем горели дома, но Вы, бросив все, поспешили сюда и стояли у входа в щель. Вместе с Вами я вернулась в убежище и там вдруг расплакалась навзрыд. Сёко и Вы, наверно, решили, что моя истерика вызвана страхом. Да я и сама ни тогда, ни после не могла найти ей разумного объяснения. Простите меня! Так же как Вы, движимый огромной любовью ко мне, которой я не заслужила, кинулись к нашему убежищу, так и я в тот момент хотела очутиться перед убежищем чистенькой, выкрашенной белой краской больницы Кадоты в Хёго, которую видела однажды из окна поезда. Все мое тело содрогалось от этого желания, и я горько разрыдалась, не найдя в себе сил подавить его.

Должна Вам признаться: нечто подобное уже случилось со мной однажды. Помните ту змейку с белыми крапинками? Я тогда похолодела от страха. Никогда в жизни я не испытывала такого ужаса. Вы, вероятно, не вкладывали особого смысла в свои слова, а мне показалось, будто Вы заглянули в самую

глубину моего сердца. Я боязливо поглядела на Вас. Вы, прикусив незажженную сигарету, задумчиво глядели куда-то вдаль. Может, это мне показалось, но лицо Ваше было таким печальным, каким я его еще никогда не видела. Это длилось какое-то мгновение, потом Вы повернулись ко мне, и Ваше лицо стало, как всегда, приветливым и спокойным.

Прежде я ясно не представляла, какова та, другая, которая жила внутри меня. Но отныне я стала думать, будто она и есть та самая змейка с белыми крапинками, на которую указали Вы. В ту ночь я не одну страницу дневника исписала словами «змейка с белыми крапинками». Я представляла себе, как эта змея лежит внутри меня, свившись в тугие, сужающиеся кверху кольца, а из самой вершины торчит маленькая, острая, похожая на шило головка. Ну прямо-таки изящная безделушка! И мне становилось чуть легче на душе при мысли, что все страшное, отвратительное, таящееся во мне, облечено в столь законченную, даже изящную форму. Пожалуй, сам господь бог при виде этой свернувшейся кольцами змейки ощутил бы к ней ласковое сочувствие. Может быть, она даже вызвала бы у него сострадание. Вот до каких дерзновенных мыслей я додумалась. С той ночи я ощутила себя еще более великой преступницей, чем прежде.

Вы уже узнали обо мне многое, но надо набраться мужества и рассказать все до конца. Не сердитесь, пожалуйста! Помните ту ветреную ночь в Атами, когда мы дали слово друг другу обманывать всех и стать великими преступниками ради нашей любви?

Обменявшись столь дерзкими клятвами, мы умолкли: больше нам не о чем было говорить. Мы лежали на белых, хорошо накрахмаленных простынях и молча глядели во тьму. Эти мгновенья удивительной тишины запомнились мне на всю жизнь. Долго ли мы хранили молчание — пять минут или час, не знаю.

В те мгновения, как ни странно, я была совершенно одинока. Забыв, что рядом со мной лежите Вы, я осталась одна, наедине со своею душой. Отчего я почувствовала тогда безысходное одиночество, хотя мы только что заключили наш тайный союз

и должны были во всей полноте ощущать взаимную близость?

В ту ночь мы решили обмануть всех, но Вы, по всему судя, не предполагали, что будете сами обмануты. Я в те минуты не делала исключения и для Вас. Буду обманывать всех: и Мидори, и Вас, и даже самое себя — такова уготованная мне судьба! Вот какая мысль мелькала, словно блуждающий огонек, в глубине моей одинокой души.

Да, проступок Кадоты был случайным, но я не могла простить его неверности. Вот почему я решила любыми средствами избавиться от своего чувства к Кадоте — чувства, в котором трудно было отделить любовь от ненависти. Я готова была на все, лишь бы покончить с ним. Я очень страдала и всей душой искала средства, способного угасить мои страдания.

И все-таки... С тех пор прошло тринадцать лет, но и сегодня ничего не изменилось, все остается так же, как в ту ночь.

Любить, быть любимой — какой роковой выбор! Однажды во время экзаменов по английской грамматике на втором или третьем курсе женского колледжа нам дали задание определить активные и пассивные формы глаголов. Среди написанных на листках глаголов была и пара «любить — быть любимой». Пока все девушки, уставясь на листки и покусывая карандаши, обдумывали задание, кто-то, видимо из шалости, передал из задних рядов листок, на котором было написано:

«Что ты предпочитаешь: любить или быть любимой?» Около слова «быть любимой» разноцветными карандашами и чернилами было проставлено множество кружков, рядом со словом «любить» — ни одного. Я тоже, как и остальные, поставила кружок у слова «быть любимой». Наверно, девушки лет шестнадцати или семнадцати, которые толком еще не разбирались, что означает «любить» и «быть любимой», инстинктивно уже догадывались: счастье в том, чтобы быть любимой.

Только моя соседка по парте мельком глянула на листок и, ни секунды не колеблясь, поставила большой жирный кружок около слова «любить». Я сразу почувствовала к ней неприязнь за то, что она поступила не так, как все, но в то же время — и я это помню до сих пор — мне почудилось, будто я ошиблась в своем выборе. Девушка эта была ничем не Примеча-

тельца. Она не особенно хорошо лилась, всегда казалась угрюмой, ни с кем не дружила. Не знаю, как потом сложилась ее жизнь, но вдруг теперь, когда я пишу Вам это письмо, перед моими глазами вновь всплыло ее лицо, хоть с тех пор прошло двадцать лет и я ее больше ни разу не видела.

Какой женщине в смертный час бог предпочтет дать тихое отдохновение: той ли, которая наслаждалась счастьем быть любимой, или другой, что видела мало счастья, но может сказать: я любила. Только найдется ли в этом мире женщина, которая с полным правом могла бы сказать богу: я любила? Нет, нет, наверно, такие женщины есть, и мои сомнения напрасны. Что, если та ничем не примечательная девушка с плохо причесанными волосами вошла в число избранных? Я представила, как она — простоволосая, в жутком рубище — стоит перед богом с гордо поднятой головой и говорит: я любила! Говорит — и падает бездыханная! Ах, как все невыносимо! Хочется куда-то бежать, исчезнуть! Я стараюсь прогнать преследующий меня образ этой девушки — тщетно. Почему меня не оставляют эти невыносимые, беспокойные мысли, хотя всего через несколько часов наступит конец и я умру? Наверно, это возмездие женщине, не вынесшей мук любви и искавшей счастья в том, чтобы быть любимой.

Я глубоко сожалею, что вынуждена написать Вам такое письмо после тринадцати лет счастья, которое Вы мне дали.

Пришел последний час, — я всегда знала, что когда-нибудь он наступит, — догорает в море рыбацья лодка. Я слишком устала, чтобы жить дальше. Надеюсь, мне удалось рассказать Вам, какой я была на самом деле. Пятнадцать — двадцать минут, потраченных Вами на чтение письма, воплотили в себе мою настоящую жизнь, жизнь истинной Аяко без прикрас и обмана.

Позвольте на прощанье еще раз сказать: тринадцать лет моей жизни казались чудесным сном. Благодаря Вашей огромной любви я была счастлива. Счастливее всех на свете.

Когда я прочитал третье письмо, адресованное Дзёсукэ Мисуги, была уже глубокая ночь. Я вынул из ящика стола пись-

мо самого Мисуги, перечел его и обратил внимание на фразу, которой оно заканчивалось. Она показалась мне многозначительной, я вновь и вновь возвращался к ней:

«...интерес к охоте появился у меня довольно давно, когда я еще не был так одинок в этом необъятном мире, и охотничье ружье стало моим неизменным спутником еще в ту пору, когда ничто как будто не предвещало краха моей личной жизни и служебной карьеры».

Внезапно каллиграфически выписанные иероглифы дохнули на меня такой невыносимой скорбью, что я даже зажмурился. Если воспользоваться словами Аяко, возможно, это была змея, которая жила в Мисуги.

Я резко поднялся из-за стола, подошел к северному окну кабинета и долго вглядывался в ночную тьму, где изредка вспыхивали голубые молнии, высекаемые далекой электричкой. Какое значение имели для Мисуги эти три письма? Что он из них узнал? Разве открыли они ему какие-то новые, неизвестные факты? Неужто ему давно не открылась сущность тех змеек, которые жили и в Мидори, и в Аяко?

Я долго стоял у открытого окна, ощущая на щеках ночную прохладу. Голова слегка кружилась, как при легком опьянении. Я ухватился обеими руками за раму и некоторое время пристально вглядывался в темноту маленького заросшего сада, словно передо мной было то самое «белое русло пересохшей реки», которое увидел Мисуги.

Бой быков

В середине декабря тысяча девятьсот сорок шестого года в «Новой осакской вечерней газете» было опубликовано объявление о том, что с двадцатого января будущего года на стадионе Хансин в течение трех дней будет проводиться бой быков. Редактор Цугами сунул в карман пробный оттиск с объявлением и спустился в холодную приемную, где его уже давно дожидался Тасиро. Они вместе вышли на улицу, продуваемую пронизывающим до костей ветром.

— Наконец-то! — воскликнул Тасиро, внимательно прочитав газетную полосу с объявлением. Он радостно улыбнулся, но сразу же согнал улыбку с лица и будничным голосом сказал: — Теперь все за рекламой...

Он с трудом сложил рвавшуюся из рук газету, небрежно сунул ее в карман и добавил:

— Надо бы посоветоваться еще по одному делу.

Тасиро, казалось, не знал, что такое усталость. Стоило ему закончить одну работу, как его сразу же тянуло к следующей.

— Как вы считаете, не следует ли после состязания скупить всех быков? Если цена каждому пятьдесят тысяч иен, то за двадцать два надо уплатить миллион сто тысяч. Не так уж дорого. Если ваша газета решит их приобрести, муниципалитет города В. возражать не станет. Это я беру на себя и даже не потребую комиссионных.

Тасиро говорил так убедительно, будто специально ради этого дела приехал с далекого Сикоку. Можно, конечно, сразу же препродать их после боя, развивал он свою мысль, но не исключено, что выгоднее попридержать — через какое-то время быки будут стоить по меньшей мере полтора миллиона. А если

их усыпить и пустить на мясо, то можно получить верных два! Правда, возни больше. Таков был расчет Тасиро. Он излагал его Цугами, время от времени останавливаясь из-за сильного встречного ветра и пытаясь заглянуть в лицо своему рослому спутнику. Плотный, широкоплечий, он то и дело запахивал раздуваемые ветром полы длинного кожаного пальто, не выпуская из рук небольшой саквояж из дорогой крокодиловой кожи — старенький, но еще довольно прочный.

Цугами согласно кивал головой, но он и в мыслях не допускал, что можно согласиться на предложение Тасиро. Для газеты, основной учредительный капитал которой составлял всего лишь сто девяносто пять тысяч иен, уже само участие в организации боя быков было чересчур смелым предприятием, тем более что его успех, без преувеличения, зависел исключительно от удачного стечения обстоятельств. Где уж, при всех предстоящих непомерных расходах, еще рассчитывать на покупку животных.

«Новая осакская вечерняя газета» была создана год назад. Штат ее образовался в основном из сотрудников газеты Б., считавшейся одной из крупнейших в Японии. Новая газета пользовалась типографией и фотолабораторией последней, так что у несведущих людей могло сложиться впечатление, что она — дочернее предприятие газеты Б. На самом же деле «Новая осакская» полностью находилась на своем бюджете, и матерый импресарио Тасиро, прежде чем заключить с ней контракт, наверно, не раз и не два проверил ее финансовое положение. И все же то, что в поисках крупных средств он обратился к небольшой газете, которая и существовала-то всего без году неделю, да еще намеревался ее привлечь к новой, миллионной сделке, выдавало в нем некую провинциальную самоуверенность. И уж, конечно, его дело, если он в своих расчетах уповал на помощь Б. Мол, если не удастся крупно заработать, то по крайней мере в накладе он не останется.

Вступив в контакт с Тасиро, Цугами не испытывал ни страха, ни беспокойства. Он был уверен в успехе, ибо с первой же встречи понял, что Тасиро от природы обладает нужными импресарио качествами. Он видел насквозь его хитрость и нахальство,

догадывался, что Тасиро неразборчив в средствах, когда дело касается денег. И все же Цугами с первой встречи уверовал: сотрудничать с этим человеком беспроигрышно. Он понимал: при всех настораживающих качествах Тасиро нетрудно распознать его цели, а значит, можно и не опасаться подвоха. К тому же Тасиро взялся за работу с таким неподдельным энтузиазмом, что Цугами даже стало стыдно за то, что иногда думал о нем плохо.

— Покупка быков — верное дело! — настойчиво твердил Тасиро, но выражение его лица при этом было рассеянным и совершенно не вязалось с решительным тоном. Он внезапно остановился и стал сосредоточенно глядеть в небо, словно там, в вышине, ему привиделся загадочный и притягательный предмет. Цугами пристально разглядывал лицо своего импресарио с застывшей, как у статуэтки, глуповатой улыбкой и чувствовал, как в нем нарастают раздражение и протест.

— А если наша газета откажется купить быков?

— Есть один человек, который с удовольствием их приобретет, — сразу же ответил Тасиро, словно предвидел вопрос. — Кстати, именно поэтому я и попросил свидания с вами. Хорошо бы вам сейчас с ним встретиться. Не исключено, что он согласится на участие и в расходах по организации боя быков. Он лицо влиятельное и может помочь в трудную минуту. Короче говоря, подходящий человек. Зовут его Ясута Окабэ.

Тон, каким Тасиро произнес «подходящий человек», настроил Цугами, но не настолько, чтобы испортить радужное настроение, в каком он пребывал. Он решил сегодня не перечить Тасиро — тем более что тот основательно потрудился, чтобы продвинуть их дело вперед.

— Окабэ — президент «Хансин когё» и владелец еще нескольких компаний. Пожалуй, он самый влиятельный предприниматель среди выходцев из Иё, — пояснил Тасиро и, слегка наклонив свою прямоугольную, как створка ширмы, спину, широкими шагами двинулся вперед.

Прошло два месяца с тех пор, как на квартире Цугами в Нисиномия появился Сутэмацу Тасиро, предъявив большую

визитную карточку, в которой значилось: «Президент фирмы зрелищных предприятий «Умэвака». Цугами взял за правило никогда не принимать посетителей на дому. Но в тот день он устал до изнеможения от бесконечных споров с Сакико, которая в очередной раз завела разговор о том, что им пора расстаться, и был рад неожиданному посетителю — лишь бы не видеть ее безмолвного взгляда, в котором читалась то ли любовь, то ли ненависть — понимай как знаешь.

При первой встрече Тасиро производил впечатление типичного провинциального импресарио. Красное энергичное лицо и густой низкий голос придавали ему моложавый вид, хотя Тасиро было далеко за пятьдесят. Коричневый грубошерстный костюм и сорочка в широкую полоску — вполне на уровне моды — все-таки скорее подходили двадцатилетнему юноше. На толстом пальце матово блестели два серебряных кольца. И лишь обмотанное вокруг шеи потрепанное черное кашне, которое он не удосужился снять, даже войдя в комнату, как-то не гармонировало с его модным обликом.

Коротко изложив цель своего визита — организовать бой быков, Тасиро сказал, что «бычье сумо» * сейчас сохранилось только в местности Иё, в городе В., затем долго и красочно описывал его истоки и развитие и в заключение с пафосом заявил, что цель его жизни — показать всей Японии это традиционное провинциальное зрелище.

— Я простой безвестный импресарио, — сказал Тасиро, — но к бою быков отношусь не как к обыкновенному зрелищу. Последние тридцать лет я устраивал, честно говоря, малоинтересные провинциальные представления, исколесил с ними остров Сикоку и все мечтал, что когда-нибудь мне удастся показать на первоклассном стадионе Токио или Осаки национальный бой быков и прославить его родину — Иё.

Хотя Тасиро и не причислял бой быков к обыкновенным зрелищам, он в то же время с удивительной настойчивостью повторял, что есть полная гарантия хорошо на нем заработать.

* Сумо — национальная японская борьба.

Цугами, казалось, совершенно не противился потоку красноречия своего гостя. Посасывая трубку, он безучастно глядел на куст камелии, которая цвела в углу его маленького сада. Беседы с подобными посетителями входили в круг его повседневных обязанностей, и Цугами привык слушать их вполуха, одновременно думая о чем-то другом, подчас сугубо личном, не имеющем никакого отношения к предмету разговора.

В общем, гость напрасно закидывал удочку, хотя и возникала иллюзия, будто Цугами внимательно его слушает, поскольку время от времени он вставлял в разговор, причем удивительно к месту, короткие фразы. И вот, чем безучастней становился взгляд Цугами, тем красноречивей вел монолог Тасиро.

— Те, кто не разбирается в «бычьем сумо», считают это зрелище аморальным, даже вредным. Наверно, потому, что в провинции издавна привыкли держать пари, делать ставки на того или иного быка...

— Делать ставки? — переспросил Цугами.

Тасиро пояснил, что и теперь почти все зрители, посещающие «бычье сумо», которое трижды в год проводится в городе В., делают ставки. Это обстоятельство внезапно привлекло внимание Цугами. Перед его глазами, словно кадры из кинофильма, возникли современные стадионы Хансин и Корозэн; сражающиеся быки внутри бамбуковой ограды, установленной в центре поля; увлеченно наблюдающие за боем толпы зрителей; ревящие громкоговорители; пачки денег. Очарованный этой неожиданной картиной, Цугами опять стал пропускать мимо ушей то, что говорил Тасиро.

«Держать пари», «делать ставки» — это пойдет, — думал Цугами. — Если устроить бой быков в большом городе, зрители, как и в В., без всякого сомнения будут делать ставки. Не исключено, что именно такое зрелище может стать спасительной соломинкой, ухватившись за которую потерявшие веру люди вновь почувствуют вкус к жизни. Надо предоставить им возможность рискнуть, испытать судьбу — и они обязательно за это ухватятся! Десятки тысяч зрителей соберутся на стадионе, со всех сторон окруженном развалинами — ранами войны, и будут держать пари, делать ставки, надеясь на везение, на

выигрыш. Правда, уже начинают возрождаться бейсбол и регби, но пройдет несколько лет, пока они обретут свою прежнюю популярность, а сейчас — самое время устроить нечто вроде этого «бычьего сумо». Впервые на стадионе Хансин — бой быков! Стоящее предприятие! И во всех отношениях подходящее для «Новой осакской вечерней газеты».

В эти минуты в холодных, безразличных глазах Цугами вспыхнул азартный огонек, за который и полюбила его Сакико так, что не может с ним расстаться.

Цугами поднялся с кресла и уже по-другому, решительным тоном произнес:

— Подумаю! В этом, кажется, что-то есть.

Когда спустя полчаса Тасиро ушел и в комнате воцарилась тишина, Цугами почувствовал необыкновенный подъем. Перед тем как решиться на новое дело, он обычно предпочитал все хорошенько обдумать в одиночестве. Вот и теперь, удобно устроившись в кресле на веранде, он прикрыл глаза и расслабился.

Внезапно послышался голос Сакико:

— Кажется, все это вас не на шутку увлекло. — Сакико сидела в углу в той же позе, что и во время разговора с Тасиро, и вязала, перебирая холодно посверкивавшими спицами.

— Это почему же?

— Почему? Да потому, что я вас вижу насквозь. Мне давно знакома такая черточка в вашем характере. — Сакико оторвала взгляд от вязанья, холодно взглянула на Цугами и, не порицая и не восхищаясь, добавила: — Авантюристическая!

В самом деле, в Цугами было нечто от авантюриста, игрока.

Один из наиболее способных корреспондентов отдела социальной хроники в газете Б., Цугами в течение трех лет без особых накладок руководил этим горячим участком, где никто до него подолгу не удерживался. Всегда одетый с иголки, с острой, как бритва, складкой на брюках, он умело обращался с посетителями, был четок и работоспособен. Любой щекотливый материал он подавал на страницах газеты мягко, без нажима, никогда не перегибая палку. Конечно, среди настырно-

го журналистского люда у него были и враги. Посмеиваясь, они не без основания порицали Цугами за неумеренную трату денег, самодовольство, эгоизм, обзывали его литературным умником, напыщенным стилистом и тому подобное. Но именно эти его недостатки создавали вокруг Цугами некий интеллектуальный ореол, отличавший его от других журналистов, подвизавшихся в отделе социальной хроники.

После окончания войны газета Б., стремясь освободиться от чрезвычайно разбухшего штата, создала типографию и вечернюю газету, переведя в эти поначалу дочерние предприятия значительное число работников. И первой же кандидатурой на пост главного редактора вечерней газеты стал Цугами. Правда, по возрасту — ему только исполнилось тридцать семь лет — он не очень подходил для столь ответственного поста, но не было в редакции другого человека, способного создать совершенно новый тип издания, которое могло бы выдержать конкуренцию с другими вечерними газетами, вырвавшимися в то время как грибы после дождя. К тому же Омото, которого прочили в директора, был из киношников и не разбирался в газетном деле, поэтому нужен был человек, не только обладающий редакторской хваткой, но и способный умело и безошибочно руководить всем газетным хозяйством. А Цугами еще в бытность свою в газете Б. сумел хорошо проявить себя и с этой стороны.

Заняв кресло главного редактора «Новой осакской вечерней газеты», Цугами смело перешел на горизонтальный набор, что было тогда в новинку, и в подготовке материала сделал упор на литературность и развлекательность, ориентируясь на читателей из среды городской интеллигенции и служащих. При оценке заметок, отборе и размещении материала в первую очередь учитывалось, насколько он остроумен. Время показало, что выбор сделан правильный. Газета пользовалась успехом среди служащих и студентов Киото, Осаки и Кобе и быстрее других раскупалась в киосках и у уличных разносчиков. Читателей, привыкших к серым, ортодоксальным газетам военного времени, действительно привлекал свежий, необычный стиль «Новой осакской». Один молодой профессор-юрист даже наз-

вал ее газетой для интеллигентных шалопаев. В самом деле, какой-нибудь эстетствующий поэт мог бы обнаружить в ее статьях эдакую небрежность, легкость мысли, мотивы пустоты, бесцельности жизни — то, что находило отклик в сердцах молодых городских интеллектуалов. В новом стиле газеты отразились тщательно скрываемые Цугами черты его собственного характера, которые лучше других разглядела в нем Сакико. Сакико жила с Цугами уже более трех лет. Они познакомились еще во время войны. Она не раз уходила, потом снова возвращалась, грозила порвать с ним окончательно, но так и не исполнила свою угрозу.

— Никто, кроме меня, не знает, какой ты хитрый и коварный авантюрист, — только я, одна я! — Сакико не раз говорила так, когда пребывала в хорошем настроении. Причем в глазах ее появлялся загадочный огонек, словно она давала понять, будто таким сделала Цугами ее любовь. Бывало и так, что те же самые слова она произносила по-иному — в тоне порицания своего любовника.

У Цугами была жена и двое детей, которые во время войны эвакуировались на родину в Тоттори, да так там и остались. Муж Сакико — друг Цугами еще со студенческих времен — погиб на фронте, но его останки не были найдены и доставлены в Японию. Любовная связь, возникшая между Сакико и Цугами, до сих пор оставалась их тайной — даже друзья-газетчики, обладавшие на такие дела особым нюхом, не догадывались о ней. Сакико относилась к этому за счет необыкновенной хитрости Цугами.

Овдовев, Сакико стала часто обращаться за разными советами к Цугами, как к другу своего погибшего мужа. Однажды она пришла к нему домой. Был жаркий летний вечер. Цугами, незадолго до того вернувшийся с работы, даже не переодевшись, с усталым видом сидел в соломенном кресле, прихлебывал виски и уныло глядел перед собой.

Увидев Сакико, он вскочил, застегнул пиджак на все пуговицы и предстал перед ней как всегда собранным и элегантным. Но Сакико успела заметить, каким одиночеством еще мгновение назад веяло от этого мужчины. Она почувствовала,

как вскипела ее кровь и вспыхнуло желание утешить его. Позже, когда они стали любовниками, Сакико не раз вспоминала тот миг и думала, что полюбила именно того, никому не известного Цугами — одинокую мятушуюся душу, которая, казалось ей, разрывается на части, испуская при этом фосфорический свет.

Сакико, отдавшая Цугами без остатка и тело и душу, все пыталась узреть в нем источник, питающий ее любовь. Источник этот то и дело неожиданно истощался, и тогда ею овладевало отчаяние из-за того, что она никак не могла заполнить собою его сердце. Цугами все время был настороже, не разрешая себе без оглядки отдаться своей возлюбленной. Его глаза не были глазами любящего, это были глаза человека, безразлично наблюдающего со стороны за развитием событий, невыносимо холодные, рыбы глаза.

Всякий раз, когда Сакико наталкивалась на холодность и бесчувственность Цугами — того и другого в нем было с избытком, — в глубине души у нее возникало одно и то же слово: злодей! Но иногда эти безразличные глаза затуманивались печалью, либо в них вспыхивал неистовый огонь непокорности. Цугами предстал перед ней, обуреваемый всеми этими противоречивыми чувствами. И именно в такого Цугами без памяти влюбилась Сакико. Но когда она поняла, что ее чувства не способны до конца всколыхнуть Цугами, ее любовь стала временами оборачиваться тоскливой ненавистью.

И то, что Цугами так легко клюнул на ловко подкинутую Тасиро приманку, Сакико относила не к интуиции журналиста, а к той самой страсти и опьяняющему азарту, которыми иногда загорался его безразличный взгляд, когда его начинал подогревать дух «авантюризма», скрываемый от всех, но хорошо известный ей.

На следующий день после встречи с Тасиро в редакции «Новой осакской вечерней газеты», занимавшей полуобгоревший, но отремонтированный особняк в районе Ёцубаси, состоялось совещание с участием директора Омото, начальников отдела информации и общего отдела, Цугами и Тасиро.

Омото первым дал согласие на проведение боя быков.

— Интересное дело! Наша газета готова выступить главным организатором при содействии города В. и Ассоциации «бычьего сумо». За три дня наберется тысяч полтораста зрителей — не меньше! Мы сможем поставить все на широкую ногу, не хуже, чем на корриде в Испании,— прорычал толстый, сам похожий на быка, Омото. Он всегда громко рычал, когда приходил в хорошее настроение.

Поскольку Омото и Цугами высказались в поддержку боя быков, остальные возражать не стали. Сразу же был подготовлен проект договора, суть которого сводилась к следующему: для состязаний выбрать современный стадион в Осаке или Кобе; обеспечить содействие со стороны города В. и Ассоциации «бычьего сумо»; бой провести в течение трех дней в конце января, когда обычно нет крупных спортивных состязаний; все расходы и доходы поровну поделить между газетой и фирмой «Умэвака»; при этом мероприятие будет организовано под эгидой газеты, без упоминания названия фирмы.

Расходы по найму быков и их транспортировке до стадиона берет на себя Тасиро; последующие расходы, включая аренду и подготовку стадиона, а также рекламу, ложатся на газету.

Вечером Омото и Цугами пригласили Тасиро в известный ресторан в городе Киото, а на следующий день Тасиро пригласил их в харчевню на осакском черном рынке, славившуюся сукияки*.

Тасиро был наверху блаженства. То и дело вытирая ладонью лоснящееся лицо и подливая сакэ в чашечки Омото и Цугами, он с поистине детской увлеченностью рисовал перед гостями картину того, как он, высадив быков в Кобе, украсит их и устроит целое шествие от Кобе до Нисиномия, а на следующий день то же самое повторит в Осаке.

Когда Тасиро отлучился в туалет, Омото, хотя он пил наравне с другими, неожиданно трезвым голосом сказал:

— Главное — расходы, которые нам предстоят до получения денег за входные билеты. По моим расчетам, потребуется что-то около миллиона иен.

* Сукияки — жареное мясо в соевом соусе с сахаром и приправами.

— На всякий случай такую сумму следует предусмотреть, — подтвердил Цугами.

— Но где мы ее добудем?

— Как-нибудь выкрутимся.

— Вы уверены?

— На рекламу особых затрат не потребуется — ограничимся объявлениями в газете. Договоримся об оплате аренды стадиона после боя быков, без выдачи аванса. Но двести или триста тысяч для строительства ограды на стадионе и загона нужно иметь наличными.

— Значит, трехсот тысяч хватит...

— Предоставьте все мне, и пусть вас это не волнует, — успокоил его Цугами, хотя сам еще ясно не представлял, как будет действовать. На худой конец он рассчитывал на выручку от предварительной продажи билетов. Но сейчас голову Цугами занимало иное: его увлекла предложенная Тасиро идея величественного шествия быков. Это давало и материал для статей, и фотографии. Прекрасная реклама, которая привлечет внимание горожан. Картины этого необычного зрелища одна за другой сменялись в его голове, затуманенной бесчисленными чашечками выпитого саке и виски.

На следующий день Цугами образовал в редакции подготовительный комитет по организации боя быков, включив в него журналистов Т. и М., а также нескольких молодых работников информационного отдела. Т. был слабым журналистом, но обладал редким умением вести переговоры. М. же всегда подавал отличные идеи, хотя сам и не доводил их до конца.

До намеченного срока оставалось два месяца, сообщение в газете следовало опубликовать по меньшей мере за месяц, то есть в середине декабря, а до этого надо было решить все организационные вопросы. Тасиро сразу же уехал на остров Сикоку, в город В., а спустя два дня вслед за ним туда отправился Цугами в сопровождении молодого журналиста Т. Но делать им там было практически нечего — Тасиро успел сам договориться с Ассоциацией и владельцами быков: было отобрано двадцать два быка с выплатой по двадцать тысяч иен за аренду каждого. Ассоциация и владельцы с энтузиазмом от-

кликнулись на предложение. Что уж там посулил им Тасиро — неизвестно, но Цугами они устроили поистине пышную встречу.

Владельцы боевых быков составляли наиболее обеспеченную часть местных жителей. Весь смысл их жизни заключался исключительно в том, чтобы иметь хотя бы одного боевого быка. В других районах собирали деньги, чтобы, например, воздвигнуть статую Дзидзо *. Здесь же все вкладывалось в этих огромных животных, которые годились только для «бычьего сумо» — и ни на что иное.

Цугами и его спутник остановились в доме Мосабуро Усиромия — вице-президента Ассоциации и владельца одного из быков, отобранных Тасиро для предстоящего зрелища. Усиромия, один из крупнейших местных богатеев, еще крепкий и бодрый семидесятилетний старик, был буквально помешан на боевых быках. Свое увлечение «бычьим сумо» он унаследовал от отца, который, уже будучи на смертном одре, завещал ему: «У тебя есть и деньги, и дом, я спокоен за твое будущее. Моя последняя воля — возьми реванш у Тамуры». Случай, конечно, анекдотический, но он свидетельствует о поистине маниакальной увлеченности местных жителей «бычьим сумо». С тех пор молодой еще Усиромия все силы положил, чтобы исполнить волю покойного. Спустя три года после кончины отца его бык одержал, наконец, победу над быком Тамуры, и Усиромия на радостях водрузил своему быку на спину поминальную дощечку, на которой были начертаны имена усопших предков, и провел его по всему городу В.

Усиромия принял Цугами у себя дома при полном параде, словно в гости пожаловал сам губернатор префектуры, и во всех подробностях поведал эту историю. Цугами слушал не очень внимательно — может, давала себя знать усталость от дальней дороги. В его сердце почему-то вообще не находили отклика рассказы о «бычьем сумо», которыми так обильно потчевали его в этом городе. И чтобы подавить поднимавшееся в нем раздражение, Цугами взял за правило по утрам, расположившись на террасе, любоваться морем.

* Дзидзо — бог — покровитель детей и путников.

Тасиро тем временем проявлял максимум активности. Он показал Цугами и журналисту Т. храм, где ежегодно в январе проводится бой быков, объездил вместе с ними всех владельцев быков в окрестностях города В. и всякий раз специально делал крюк, чтобы проехать мимо дома своего старшего брата. Дом был с обширным участком, огороженным каменной оградой, что в сельской местности считалось шиком. Тасиро все время куда-то спешил, путаясь в полах кожаного пальто, и то и дело смахивал с носа капельки пота. Он первым провозглашал тосты на банкетах, которые ежевечерне устраивались в честь Цугами, и иногда настолько забывался, что причислял и себя к журналистам, говорил «наша газета», а Цугами величал сэнсэем*.

Вернувшись в Осаку, Цугами активно занялся подготовкой к бою быков, но если в городе В. все прошло гладко, то здесь его поджидали препятствия. Началось со стадиона. По срокам наиболее подходящим был стадион Хансин. Вначале удалось договориться об аренде с двадцатого по двадцать второе января, но накануне подписания договора возникли неожиданные осложнения. Дело в том, что прежде стадион Хансин, которым владела железнодорожная компания «Нанива», уступал по качеству травяного покрытия стадиону, принадлежавшему конкурирующей железнодорожной компании. После войны «Нанива» вложила немало средств, чтобы привести его в порядок, а тут предполагалось вбивать сваи, устанавливая бамбуковую ограду, не говоря о том, что травяное покрытие неизбежно вытопчут быки. Опасения компании «Нанива» были обоснованны, и Цугами приложил немало усилий, чтобы добиться окончательного согласия на аренду. Только решили эту проблему, возникла новая — заявили протест профессиональные бейсбольные команды, которые лишались на три дня возможности нормально тренироваться. Чтобы их успокоить, пришлось прибегнуть к помощи некоторых влиятельных лиц. И на все это требовались деньги, и немалые. А тут еще отдел охраны порядка отказал в выдаче лицензии под предлогом

* Сэнсэй — учитель, вежливое, почтительное обращение.

того, что в Японии до сих пор бой быков как платное зрелище никогда не проводился. Вызвали телеграммой с Кюсю Тасиро, но он подтвердил, что и в префектуре Эхимэ, откуда пошло «бычье сумо», никто доселе не получал лицензии на проведение подобного зрелища за плату. Как Омото и Цугами ни уговаривали чиновников, добиться ничего не удалось. Тасиро в результате бесчисленных поездок из Осаки на Сикоку убедил, наконец, влиятельных лиц в префектуре Эхимэ начать движение за выдачу лицензии, но и оно не принесло успеха. Тогда за дело взялся журналист Т. — непревзойденный мастер переговоров. Он-то и вырвал согласие у начальника отдела охраны порядка, пообещав немедленно приостановить зрелище, если возникнет малейшая опасность. Только тогда Цугами опубликовал в газете объявление и фотографию двух сцепившихся рогами быков. Объявление поместили между двумя главными новостями — информацией о забастовке учителей и статьей о внутренних раздорах в социалистической партии, и оно неизбежно должно было привлечь внимание читателей.

Пройдя метров двести по дороге, петлявшей среди развалин, Тасиро остановился у полуразрушенного здания, нырнул в дыру, мимо которой невнимательный человек прошел бы, не обратив внимания, и стал спускаться по крутой лестнице. Цугами следовал за ним, осторожно нащупывая в темноте ступени. Лестница заканчивалась неожиданно большим, ярко освещенным помещением. Середину пространства занимал внутренний дворик в японском стиле с высаженными растениями и висячим фонарем. Вокруг дворика располагались четыре комнаты. В углу одной из них, предназначавшейся, видимо, для бара, громоздилась гора стульев с высокими спинками и стояла выкрашенная в голубой цвет пивная бочка. Рядом четверо мужчин настилали у умывальников кафель.

В небольшой, единственной обставленной комнате, сунув ноги под одеяло, накрывавшее катацу *, сидел Ясута Окабэ

* Катацу — комнатная жаровня, вделанная в пол и накрываемая сверху одеялом.

в форме, выдававшейся во время войны гражданскому населению. Поверх он накинул теплое кимоно на вате. На столе перед Окабэ стояла наполовину опорожненная бутылка виски.

— Добро пожаловать! — приветливо воскликнул он и, скинув с плеч ватное кимоно, пригласил Цугами к столу. Окабэ был мал ростом, его круглое лицо, когда он говорил, прорезали бесчисленные морщинки. В целом он создавал впечатление простака, однако за его простоватой внешностью рубахи-парня скрывались наглость и полное безразличие к окружающим.

— Я давно ждал вас, господин Цугами, — сказал Окабэ.

Развязный тон Окабэ сразу же вызвал у Цугами антипатию, и, глядя на быстро шевелившиеся тонкие губы Окабэ, он подумал: того и гляди сейчас начнет фамильярно похлопывать меня по плечу. И чтобы не дать ему повода, Цугами представился с необычной для себя официальностью и протянул визитную карточку.

Окабэ достал портмоне, долго в нем рылся, потом хлопнул в ладоши, подзывая молодого парня — видимо секретаря.

— Напиши мою визитную карточку, не забудь телефон компании, — сказал он, передавая секретарю блокнот и авторучку.

Окабэ поглядел на визитную карточку Цугами и протянул ее Тасиро. Тот пояснил, что на ней значится должность Цугами — главного редактора газеты. Окабэ несколько раз кивнул. Цугами глядел на этого маленького, заурядной внешности человека и думал, что «самый влиятельный выходец из Иё», по всей видимости, не умеет ни писать, ни читать.

Принесли закуски и сакэ. Окабэ без умолку болтал, откровенно и чуть снисходительно посвящая Цугами в свои планы:

— Хочу здесь устроить приятный и веселый ресторанчик. Что говорить, японцы истосковались по вкусной еде, и я прежде всего хочу предложить им первоклассные блюда. Думаю пригласить лучших поваров из Бэппу, Коти и Акита.

Цугами удивляло, что в присутствии Окабэ Тасиро ведет себя крайне неуверенно. Он не пытался завести разговор, ради которого привел сюда Цугами, и лишь услужливо принимал и расставлял на столе блюда с едой, подливал Окабэ и Цугами сакэ, все время внимательно прислушиваясь к беседе.

Цугами с любопытством ожидал, когда Окабэ приступит к делу. Он не принадлежал к любителям спиртного, но, не решаясь обидеть хозяина, время от времени опорожнял чашечку, которую сразу же вновь наполнял Тасиро. «Сейчас уже, наверно, поступил в продажу номер газеты с объявлением о бое быков», — неожиданно подумал Цугами и спросил:

— Видимо, работа в компании отнимает у вас уйму времени?

— Нисколько! — воскликнул Окабэ. — Я совершенно свободен. У меня пять или шесть компаний, но я ими не занимаюсь. Компания, где президент всегда занят и не может выкроить время на развлечения, неминуемо обанкротится. Я же за свои дела абсолютно спокоен и могу жить в свое удовольствие — вот так, как сейчас!

Окабэ, по всей видимости, доставляло удовольствие поражать собеседника неожиданными и экстравагантными рассуждениями. Ему и теперь не столько хотелось раскусить Цугами, с которым он встретился впервые, сколько показать себя.

— Поверьте, я не шучу, — рассуждал он. — На трезвую голову человек не способен придумать ничего путного. — От виски, выпитого еще до прихода Цугами, глаза Окабэ хитровато поблескивали, и он временами без всякого стеснения в упор разглядывал Цугами. Разговаривая, он не выпускал из рук стакан с виски и время от времени отхлебывал изрядную порцию желтоватой жидкости, несколько секунд перекачивал ее между щеками и, не морщась, проглатывал.

— А сейчас я поведаю вам, господин Цугами, и тебе, Тасиро, историю моей жизни, — сказал Окабэ.

— Это очень интересно. Я давно хотел, чтобы вы рассказали, каким образом стали большим человеком, но все не решался попросить вас об этом! — воскликнул Тасиро.

Цугами с раздражением подумал, до чего же Тасиро раболепствует перед Окабэ. А тот поставил на стол стакан, который Тасиро поспешил наполнить, ненадолго прикрыл веками свои маленькие глазки, потом резко открыл их и заговорил:

— Большой человек Окабэ или маленький — значения не имеет. Скажу вам только, что все свои компании я создал уже

после войны, создал их вот этими руками за год. Всего за один год! Вот что интересно!

Окабэ хрипло рассмеялся и продолжил свой рассказ. В октябре того года, когда окончилась война, его демобилизовали и он вернулся в Японию. Ему исполнилось уже сорок два года. Жены у него не было, детей тоже. Он занял три тысячи иен у женщины, с которой был близок лет десять назад, добрался до Кобе на грузовике фронтового приятеля, полмесяца проболтался там без дела, пока не заинтересовался продажей сельскохозяйственного инвентаря.

Узнав, что на заводе «Акэбоно» в Амадзаки начали производить новые рисорушки с электромотором, Окабэ решил раздобыть их побольше и, продавая крестьянам, урвать толику денег, которые в то время в изрядном количестве скопились в деревне. Он посетил директора завода, предъявив при этом визитную карточку, на которой значилось, что он директор-распорядитель Акционерной компании Акэбоно. Визитная карточка была, конечно, липовая. Он заказал ее накануне в одном из осацких универмагов. Но свою роль она сыграла. «Вот как? Значит, ваша компания тоже называется Акэбоно?» — удивились в дирекции и выписали ему сто рисорушек по три тысячи иен. Он мог получить их буквально на следующий день. С Окабэ не потребовали даже аванса. Теперь оставалось к завтрашнему дню каким-то путем достать триста тысяч иен.

— Как, вы думаете, я добыл эти триста тысяч? — ослабившись, спросил Окабэ. — Представьте, взял в долг у совершенно незнакомого человека, с которым до того даже не встречался ни разу.

Окабэ решил попытать счастья у Ямамото — бывшего депутата парламента от его префектуры, который разбогател на военных поставках. Окабэ был уверен, что заставит его раскошелиться. Покинув завод «Акэбоно», Окабэ сразу же направился к дому Ямамото в районе Микагэ. Встретившись с Ямамото, он, прибегая то к угрозам, то к уговорам, попытался сразу взять займы триста тысяч, но Ямамото наотрез отказал. Не помогла и ссылка на то, что они, мол, односельчане, выходцы из одной префектуры и должны помогать друг другу. В течение

дня Окабэ трижды побывал у Ямамото, но тот был непреклонен. Тогда Окабэ сел на бетонную ступеньку у входа в дом Ямамото, решив устроить нечто вроде «сидячей забастовки». Внезапно его осенила блестящая идея: застраховать жизнь на триста тысяч, а страховой полис отдать в заклад Ямамото.

Окабэ тут же направился в страховую компанию, которая временно разместилась в одном из уцелевших зданий в районе Ёдобаси. Но рабочий день кончился, и контора была закрыта. Тогда он узнал у дежурного адрес начальника отдела страхования жизни и поехал к нему домой в Суйта. Тот предложил ему зайти в оффис на следующий день, но Окабэ это не устраивало. Наконец, всякими правдами и неправдами ему удалось, уплатив три тысячи иен, получить у начальника отдела временный страховой полис на триста тысяч. На последнем трамвае он помчался к Ямамото и попросил триста тысяч под залог своего страхового полиса.

— Вовремя меня осенила эта идея, — продолжал Окабэ. — Хотя, если подумать, такой страховой полис ломаного гроша не стоит. А все же он подействовал. Да, человек — удивительное существо. Ямамото решил: раз я фактически закладываю ему свою жизнь, значит, дело серьезное и меня в самом деле припекло. Он выдал мне под залог триста тысяч на месячный срок. С этого все и началось.

Цугами терялся в догадках, пытаюсь понять, зачем понадобилось Окабэ рассказывать о своей жизни типичного мошенника и афериста, но потом, видимо, сам увлекся и слушал его с интересом.

— Все это очень занимательно, — признался Цугами, не покрывив душой.

— Вот такой я человек. А сейчас у меня уже миллионов десять, а то и все двадцать... Ну теперь-то, господин Цугами, вы согласны взять меня в долю? — неожиданно заключил Окабэ.

Взгляды их встретились и, словно в поединке, вцепились друг в друга. Окабэ первым отвел глаза, не спеша закурил, снова повернулся к Цугами и посмотрел на него настойчиво и как бы оценивающе.

Окабэ сказал, что если совместная покупка быков Цугами почему-либо не устраивает, он мог бы взять на себя все расходы по их транспортировке и содержанию. Он готов также ассигновать средства на проведение самого зрелища, а всю прибыль уступить газете. Он говорил тихо, но уверенно, словно заранее зная, что возражений не будет.

— Вы меня ставите в затруднительное положение, — ответил Цугами, дав Окабэ выговориться.

Хотя Окабэ казался Цугами несколько одиозной личностью и особого доверия не заслуживал, предложенные им условия были несомненно выгодны для газеты. И все же ему не понравился чересчур самоуверенный и цепкий взгляд маленьких глазок Окабэ.

— Позвольте уж нам самим довести дело до конца. Для меня ведь это первое предприятие, за которое я взялся, — ответил решительно Цугами.

Окабэ, держа в руках стакан с виски и вежливо кивая, выслушал ответ и сказал:

— Понимаю, понимаю. Очень жаль, но ничего не поделаешь.

Затем он подлил виски в чашечку Цугами и со смехом добавил:

— Знаете, вы мне нравитесь. Честное слово! И дело это вам по плечу. Откровенно говоря, очень хорошо, что вы мне отказали. Я не в обиде.

Окабэ в самом деле, кажется, пришел в хорошее настроение — правда, трудно было понять, насколько искренне он говорил.

Когда Цугами и Тасиро вышли наружу, день уже клонился к вечеру и косые лучи неяркого зимнего солнца освещали сумрачные развалины.

— Напрасно вы отказались от выгодного предложения, — со вздохом сказал Тасиро.

— Напрасно? — переспросил Цугами, хотя подумал то же самое.

Подняв воротники, они зашагали рядом, но внезапно появившийся из-за поворота грузовик вынудил их отскочить на тротуар, и они невольно повернулись лицом друг к другу.

— Я не успел еще вам сообщить, что возникла одна сложность, — сказал Тасиро, виновато заглядывая Цугами в глаза.

Оказывается, для перевозки двадцати двух быков требовалось восемь вагонов, а сейчас из города В. ежедневно к товарным поездам прицепляют не более двух. Тасиро специально ездил в Хиросимское управление железных дорог, просил дополнительно прицепить несколько вагонов, но ему отказали, объяснив это жесткими лимитами на уголь, а также отсутствием вагонов. Цугами молча шел рядом, слушая Тасиро. Ему казалось, будто с океана мчится на него огромная волна, увенчанная шапкой пены, и никакими силами ее не одолеть.

— Только Окабэ с его связями мог бы замолвить за нас словечко в Хиросимском управлении, — заключил Тасиро.

— Вы с ним, наверно, уже и договорились? — Цугами резко остановился и сердито поглядел на Тасиро. Тасиро нахально рассмеялся. Видимо, он в самом деле уже посулил Окабэ быков в обмен на эту услугу. Цугами с неприязнью ощутил, что Окабэ незаметно и вопреки его желанию приобретает к их предприятию.

В новом году Сакико еще ни разу не удалось встретиться с Цугами. Вначале он собрался было съездить на новогодние праздники в родную деревню в префектуре Тоттори, но затем отказался от своего намерения и целиком посвятил себя подготовке к бою быков. Лишь новогоднюю ночь — и то по решительному настоянию Сакико — они провели вдвоем в тихом отеле в Киото, куда доносилось лишь журчание воды в канале. Была настоящая новогодняя ночь. Звезды ярко сверкали в черном бархатном небе. Кругом царил тишина, даже ветер, дувший последние несколько дней, поутих. Ровно в двенадцать часов зазвонили колокола в буддистских храмах, разбросанных по всему Киото. Цугами сидел за небольшим столиком и, прихлебывая виски, тщательно записывал в новый блокнот все, что ему предстояло еще сделать до начала боя быков. Когда зазвонили колокола, он отложил ручку в сторону и прислушался. Сакико была рядом. Звон колоколов, ближних и дальних, перемежаясь и сталкиваясь, напоминал журчание

множества серебристых ручейков, пробивавшихся к отелю сквозь холодную ночную тьму.

Цугами и Сакико долго сидели рядом, молча прислушиваясь к перезвону колоколов. Сакико ощутила удивительное спокойствие, какого еще не испытывала за все время их знакомства. Лицо Цугами, стряхнувшего с себя на мгновение повседневные заботы, показалось ей открытым и беззащитным. И ее внезапно затопило необычное, далекое от ненависти и любви чувство, будто она обязательно должна находиться при Цугами, иначе он погибнет. А колокола продолжали звонить. Когда отзвучала половина от положенных ста восьми ударов, Цугами поднялся, открыл окно и некоторое время вглядывался во тьму. Сакико подошла, встала рядом и, прижимаясь к нему, выглянула наружу, где царил неприветливый мрак, сотрясаемый колокольным звоном. Густые кроны деревьев отгораживали их от города, и сквозь них нельзя было разглядеть ни единого огонька. Неожиданно Сакико почувствовала необъяснимый страх. Нечто тревожное было в том, как они — двое любовников — стоят, прижавшись друг к другу, и прислушиваются к звону колоколов, провожающих старый год. Казалось, будто каждый удар отдаляет их друг от друга, приближая неизбежную разлуку.

Сакико отошла от окна и присела в углу у небольшого зеркала в лакированной рамке. Не в силах унять охватившую ее тревогу, она думала о том, что отдала Цугами три лучших года жизни, а взамен обрела одни лишь переживания. Из зеркала на нее глядело осунувшееся бледное лицо с лихорадочно блестящими глазами...

Первые дни нового года Сакико провела у себя дома. Ей никого не хотелось видеть, к тому же она простудилась. От нечего делать она листала газеты, обратив внимание, что сразу после новогодних праздников в «Новой осакской вечерней газете» заметно больше стало материалов, связанных с предстоящим боем быков: интервью нашумевшего певца — исполнителя роли Хозе в опере «Кармен»; статья о бое быков барона Ф. — известного любителя спорта; фотография старого скульптора, специализировавшегося на изображении быков;

статья подающего надежды боксера о быках, опубликованная под привлекательным заголовком «С точки зрения профессионала»; материалы спецкора газеты под шапкой «Там, где выращивают боевых быков».

Сакико мало интересовал сам по себе бой быков, но сквозь все эти статьи, заполонившие полосы вечерней газеты, она ощущала холодные, но в то же время одержимые идеей глаза Цугами. На газетных полосах как бы отражались его планы, внезапно мелькавшие мысли. За типично рекламными материалами, информацией о съемках короткометражных фильмов на стадионе, где намечалось провести бой быков, она видела мечущуюся фигуру возлюбленного, ведущего переговоры, что-то предлагающего, отвергающего, спешащего осуществить свои замыслы.

Восьмого января Сакико решила обязательно повидаться с Цугами. А решив так, она уже не могла спокойно усидеть на месте. Тем более что на следующий день она должна была после болезни выйти на работу в ателье близ Синсайбаси, и времени у нее оставалось в обрез. Кроме того, ее по-прежнему не оставляла странная тревога, испытанная в ту новогоднюю ночь. И хотя давно уже наступил новый год, неприятный осадок все не исчезал.

Сакико позвонила в редакцию, но там ей ответили, что последние два-три дня Цугами днюет и ночует на стадионе Хансин. Цугами с самого начала запретил Сакико появляться у него на службе. И все же она отправилась на стадион, хотя сознавала, что это может выдать их отношения. Накануне сильно похолодало, и казалось, вот-вот выпадет снег. Сакико впервые вошла внутрь стадиона, огромную чашу которого прежде видела лишь из окна электрички. Она пересекла пустое, безлюдное в это время поле и вошла в маленькую контору, напоминавшую корабельную рубку. Там было несколько человек — то ли журналистов, то ли обычных посетителей. Они сидели вокруг переносной печурки и курили. Чуть в стороне она увидела Цугами. Он стоял в пальто с поднятым воротником и что-то громко кричал в телефонную трубку. Его взгляд безразлично скользнул по Сакико, и в его холодных глазах она

почувствовала укор. Закончив длинный разговор, он первым вышел из конторы и по темному зигзагообразному проходу стал подниматься на верхний ярус. Сакико последовала за ним.

— Зачем пожаловала? У тебя ко мне дело? — раздраженно спросил Цугами, бросив на нее быстрый взгляд. Щеки его запали. По всему было видно, что он устал до изнеможения.

— А разве нельзя просто встретиться с тобой, без всякого дела? — мягко возразила Сакико.

— Я ведь тебя предупреждал, что буду по горло занят.

— В новом году мы впервые встречаемся, и, пожалуйста, не делай такое страшное лицо... «Зачем пожаловала?..» Кто я тебе и какое ты имеешь право так со мной разговаривать?

— Опять за старое? Перестань! Говорю же, что страшно устал. — Зажав в зубах сигарету, Цугами говорил резко, не в силах сдержать раздражение. Сакико побледнела. Она собралась было что-то ему ответить, но раздумала и лишь молча глядела на его изменившееся лицо, развевающиеся на ветру волосы. Они стояли друг против друга, словно готовились вступить в поединок. Цугами первым заметил это и сказал:

— Давай присядем.

Он плюхнулся на ближайшую скамейку. Сакико опустилась рядом.

На запад и восток от стадиона до горизонта тянулась обширная равнина, куда во время войны эвакуировали военные заводы из Осаки и Кобе. Отсюда, с верхнего яруса, их здания походили на обрывки беспорядочно разбросанной бумаги. Там и сям врезались в небо металлические конструкции, напоминавшие остовы затонувших кораблей. Присмотревшись, можно было заметить вдали множество фабричных труб и поваленных телеграфных столбов, вокруг которых землю устилали провода, переплетаясь в странном узоре словно огромная паутина. Время от времени сквозь развалины не спеша проезжала электричка с казавшимися отсюда игрушечными вагончиками. Вдали на северо-востоке виднелась горная цепь Рокко. А над этим хаотическим скоплением творений рук человеческих низко нависло свинцово-серое небо.

Сакико молча глядела на неприветливый пейзаж и думала о

том, сколь холоден и безразличен к ней сегодня Цугами. А ведь она специально приехала сюда, чтобы он уделил ей хоть малую толику их прежней любви, согрел ее сердце. Ах, как сейчас желала она этой любви — пусть обманчивой. Несколько теплых слов Цугами было бы достаточно, чтобы успокоить ее. Она жаждала их — пусть лживых, бессовестно лживых слов любви! Сакико вглядывалась в профиль сидевшего рядом с ней мужчины, которому не было никакого дела до переживаемых ею сердечных мук. Внезапно в ней всколыхнулась жгучая ненависть к человеку, который не желает даже пальцем шевельнуть для того, чтобы обмануть ее. Тогда она, решив, что пора расплачиваться с долгами, с напускным безразличием предложила ему поехать вместе на чайную церемонию в храм Ниннадзи. Она тут же придумала, что получила приглашение от своей подруги из Киото.

Не обратив внимания на недоуменное выражение, появившееся на лице Цугами, она сказала:

— Церемония состоится четырнадцатого января. Поедем вместе, только на один день!

— Это невозможно, — воскликнул Цугами.

— Ну хотя бы на полдня.

— Не могу. Пока не проведем бой быков, я отсюда не могу отлучиться ни на один час.

— Значит, между нами все кончено, — сразу охрипшим голосом сказала Сакико. — Зачем, собственно, я это говорю — вот глупая! Разве не ясно, что ты меня уже бросил.

— Никто не собирается тебя бросать.

— И ты еще смеешь утверждать это! — Неожиданная ненависть к этому безразличному человеку всколыхнула все ее существо, и, уже не сдерживаясь, Сакико закричала:

— Так брось меня, брось по-настоящему, прямо здесь, чтобы я покатила вниз по ступенькам. Падая, буду глядеть на твое лицо. Интересно, появится ли на нем хотя бы тень сочувствия...

Наступила тишина. Вспышка гнева прошла, говорить больше было не о чем, и Сакико ощутила безысходную тоску. Теперь уже ничего не исправишь, подумала она. Кто-то из них должен

был первым подняться со скамьи. Цугами вдруг вспомнил, что у него неотложное дело, и, попросив ее подождать, поспешил в контору. Спустя несколько минут он вернулся и в совсем ином тоне стал объяснять, что сегодня, как и все ближайшие дни, он завален делами, но зато, когда все будет позади, они обязательно съездят вместе отдохнуть на горячие источники в Кисю. И, словно оправдываясь, добавил:

— Все идет из рук вон плохо, ничто из задуманного не получается так, как хотелось бы.

Он указал Сакико на площадку стадиона с обведенным белой краской кольцом в центре, внутри которого будет происходить бой быков, и объяснил, что его надо обнести бамбуковым частоколом, но даже эта работа не клеится: с трудом удалось найти человека, знающего, как возводить такой частокол, а когда тот приехал из В., оказалось, что бамбуковые кольца еще где-то в пути. Наконец, сегодня утром их доставили на стадион, но человек этот со вчерашнего дня свалился в постель с простудой. Как раз когда Сакико вошла в контору, продолжал Цугами, он вел переговоры об организации фейерверка в парке Наканосима. Городские власти сначала согласились, но потом аннулировали разрешение, ссылаясь на то, что, мол, это первый фейерверк после войны, да к тому же сейчас чрезвычайные строгости в получении пороха. В общем, они со своей стороны постараются, но твердо обещать ничего не могут. И так со всем, за что ни возьмись.

— От чего другого, а от фейерверка не откажусь! — воскликнул Цугами.

— Представляю, какая будет красота: сгоревшая Осака, а в небе над обуглившимися развалинами расцветают хризантемы фейерверка. — Реплика прозвучала иронически, чего не ожидала сама Сакико. Ведь она вообще хотела молчать. Сказав про хризантемы, она тут же подумала, что Цугами может устроить фейерверк и в форме светящегося в небе быка — с него станет! — но, заметив, сколь серьезным было выражение его лица, решила больше не иронизировать.

Цугами заторопился, сославшись на то, что в конторе его ждут владельцы типографии, транспортного агентства и похо-

ронного бюро. Оказывается, через похоронное бюро можно добыть не только бензин, распределение которого строго лимитировано, но и грузовики, оснащенные громкоговорителями, — ведь без них не организовать хорошей рекламы.

— И катафалки, и грузовики с громкоговорителями, актерами-комиками и танцовщицами выезжают там из одного и того же гаража — конечно, не очень приятно, но если подумать, то и не так страшно. — Цугами говорил без тени улыбки.

Сакико видела, что он устал до изнеможения, пытаясь чего-то добиться в этом хаосе, охватившем послевоенную страну, и в то же время она понимала, что он кинулся очертя голову в эту затею, ощущая в новом увлечении то самое опьянение, какого он всегда втайне жаждал.

Вконец расстроившись, Сакико отправилась на станцию. В ожидании электрички на Осаку она стояла в одиночестве на платформе, прислонившись к ограде. Было холодно, и она накинула на голову кашне. И тут ее пронзила мысль — скорее даже не мысль, а неизвестно откуда и по какой причине возникшее предчувствие, что Цугами потерпит неудачу со своей затеей. «Он провалится, он провалится», — шептала она, содрогаясь всем телом, и трудно было понять, что она испытывает в этот миг: любовь или ненависть.

Когда до открытия боя быков осталось десять дней, «Новая осакская вечерняя газета» стала посвящать этому событию целую полосу, а то и две. Крупная газета, безусловно, ничего похожего не могла бы себе позволить, но тем-то и хороша была небольшая «Новая осакская», что могла преспокойно отодвинуть на задний план другие новости. Теперь бычья голова красовалась даже над колонкой, где обычно помещалась редакционная статья. Журналисты из газеты Б. открыто злословили, что Цугами, мол, начал выпускать бычью газету. Это доходило до ушей Цугами, но он, как и директор Омото, старался ничего не замечать и с еще большим рвением занимался делом. Лишь только закончился конкурс на лучшую песню, посвященную бою быков, как читателей попросили назвать возможного быка-победителя.

Молодой репортер Т., отвечавший за рекламу, старался всю. На конечных остановках автобусов в Умэде, Намбе, Камироку, а также на станциях метро вывесили большие плакаты с изображением сцепившихся рогами быков. Такие же плакаты, но поменьше размером, расклеили в автобусах и пригородных электричках. Грузовики с громкоговорителями, которые постоянно курсировали по улицам, застроенным бараками, оглушали людей «Песней о «бычьем сумо», занявшей первое место на конкурсе. Три таких грузовика с танцовщицами из ревью каждый день разъезжали по Осаке, два — по Кобе.

Все это требовало огромных расходов, которые уже давно превысили смету и тяжелым бременем ложились на бюджет «Новой осакской вечерней газеты». Первым восстал бухгалтер. Он и так уже резко сократил командировочные и представительские, прекратил выдачу авансов и даже перенес с середины на конец месяца оплату за сверхурочные.

— Господин Цугами, — заявил бухгалтер, — я больше не имею возможности субсидировать ваше мероприятие. Многие сотрудники очень рассчитывали получить пятнадцатого за сверхурочные, а я был вынужден им отказать.

За четыре дня до начала боя Цугами получил от Тасиро телеграмму: «Завтра шесть утра прибываем Санномия». К этому времени перед станцией Нисиномия был построен загон для двадцати двух быков и подготовлено жилье для сотни с лишним погонщиков и владельцев быков. Вечером Омото и Цугами заглянули в один из баров Умэды.

— С быками, кажется, все в порядке. — Цугами с облегчением вздохнул, поднимая свой стакан с виски.

— Пожалуй, — ответил Омото. — Не могут же они, в самом деле, сквозь землю провалиться вместе с товарными вагонами. Правда, все это обошлось нам в копейку.

— В наше время за что ни возьмись — все требует в пять раз больших затрат, чем первоначально предполагаешь, а уж если обходится втрое дороже, так это хорошо, — заметил Цугами.

— Похоже, теперь новых крупных затрат не предвидится.

— Пожалуй, но в крайнем случае как-нибудь выкрутимся.

— Ты журналист, тебе все нипочем, а если все же понадобится еще сто или двести тысяч?

Цугами так и подмывало сказать: «На худой конец выложишь из своего кармана». Но вместо этого он произнес:

— О чем мы говорим, директор! Через пять дней у нас в кармане будет миллион иен. — Цугами подсчитал: если ежедневно будет собираться тридцать тысяч зрителей, значит, за три дня — около ста тысяч. Пять тысяч билетов на лучшие места по пятьдесят иен, двадцать тысяч — на места в нижних ярусах — по сорок иен, семьдесят пять тысяч — на верхние ярусы — по тридцать иен. Получается три миллиона триста тысяч. За вычетом текущих расходов чистая прибыль составит два миллиона триста тысяч. Половину придется отдать Тасиро. Но миллион-то все-таки останется.

В редакции с самого начала было известно, что именно Цугами держит в узде Омото и, когда надо, натягивает поводья. Но за неожиданными вспышками щедрости Омото Цугами разглядел в своем директоре удивительную расчетливость и даже скарედность. Омото же глазом опытного человека увидел за жесткостью, порой даже излишней придирчивостью пунктуального молодого редактора фантазерство и способность очертя голову кинуться в любую авантюру.

На следующий день Цугами первой электричкой отправился в Санномия, однако товарные вагоны с быками прибыли туда еще в четыре утра, на два часа раньше, чем сообщил Тасиро. Было холодно, и иней густо покрывал землю. От огромных быков — каждый весом более двухсот кан * — валил пар. От группы людей, толпившихся у костра, разведенного сбоку от багажного склада, отделился Тасиро и пошел к Цугами, пряча подбородок в воротник кожаного пальто.

— Вот мы и прибыли, — радостно воскликнул он. — Каковы, а? — Тасиро указал подбородком в сторону быков. — Не похожи на тех коровенок в Кобе и Осаке, которых кормят отбросами.

Тасиро даже забыл поздороваться. Он стоял перед Цугами,

* Один кан — 3,75 килограмма.

сунув руки в карманы пальто, с сигаретой в зубах, и вид у него был победоносный.

— Ну что, измучились? — спросил Цугами.

— Ничего страшного. Дорога, правда, измотала: сегодня пятый день в пути, — ответил Тасиро, но на лице его не было и тени усталости.

— Ясно, — сказал Цугами и сразу перешел к делу: — А как идет подготовка к шествию?

Предполагалось, что в этот день в восемь утра должно начаться шествие быков из Санномия в Кобе, а оттуда в загон в Нисиномия. На следующий день намечалось шествие по Осаке, после чего быки должны были вернуться в Нисиномия. Цугами беспокоило состояние быков: смогут ли они выдержать шествие после пятидневной тряски в товарных вагонах? Но Тасиро его успокоил:

— Напротив, это даже полезно — ведь они так долго не двигались.

Он посмотрел на часы и, сказав, что должен зайти к начальнику станции, уверенным шагом командира, инспектирующего отряд перед походом, направился к станционному зданию.

Цугами пошел к владельцам быков, обмениваясь приветствиями с теми, с кем познакомился во время поездки в город В. Репортер, сопровождавший состав с быками, отвел Цугами в сторону и зашептал, многозначительно указывая в ту сторону станционного двора, где несколько мужчин грузили на машину мешки:

— Поглядите туда!

Цугами посмотрел в том направлении и заметил Тасиро, который стоял рядом с грузовиком и, размахивая руками, давал, видимо, какие-то указания.

— Тасиро говорит, что все это — корм для быков. Сдается мне, этот Тасиро — отъявленный плут и мошенник.

По словам репортера, Тасиро погрузил на станции В. множество рогожных мешков, объяснив, что в них корм для быков. Репортер удивился прозорливости животных и потихоньку вскрыл один из мешков. В нем оказалась сушеная рыба. Он к другому — там был неочищенный сахарный песок.

— Слишком изысканный корм для быков, — подумал я, — но, памятуя о том, что редакция нашей газеты заинтересована в успешном проведении боя быков, ничего не стал говорить Тасиро и другие мешки не проверял, а в них, не исключено, может быть кое-что и похлеще, — сказал репортер, потом расхохотался и добавил: — А в Такамацу было весело.

И он рассказал, как из-за землетрясения сдвинулись рельсы, по которым товарные вагоны съезжали на паром, и пришлось разгрузить четыре из восьми вагонов, вывести быков, перенести мешки с «кормом» на паром вручную с тем, чтобы в Уно погрузить все это в другие вагоны. Вот тогда-то Тасиро не на шутку заволновался. Весь день он метался по Такамацу, а к вечеру привел нескольких человек, которые выгрузили остатки «корма» и куда-то увезли.

— А сейчас на машины грузят ту часть, которая путешествовала с нами до конца, — добавил репортер. Он был возмущен проделками Тасиро и не скрывал этого. Цугами с самого начала не исключал подобного поворота дела, но теперь, столкнувшись с этим на практике, всерьез расстроился. Он подошел к Тасиро и тронул его за плечо. Тот обернулся и, увидев Цугами, заулыбался:

— Поймали с поличным?

— Поймал. Вижу, ты тут развернулся вовсю.

— Как вам сказать, — уклончиво пробормотал Тасиро, потом, сразу посерьезнев, добавил: — По правде говоря, этот груз принадлежит Окабэ.

Только теперь Цугами обратил внимание на выведенное белой краской на борту грузовика название компании Окабэ «Хансин когё». Тасиро объяснил, что лишь благодаря Окабэ ему удалось забронировать восемь вагонов, а тот — услуга за услугу — попросил заодно подбросить для него кое-какие товары. И Тасиро не смог ему отказать.

— Лучше всего сделать вид, будто вы ничего не заметили, а Окабэ ох еще как может нам понадобится!

— У меня нет особого желания иметь дело с этим человеком, — сердито ответил Цугами.

— И все же, господин Цугами, нам придется иметь с ним

дело — и сегодня, и завтра! Взять хотя бы специальный корм для быков.

Оказывается, за два-три дня перед боем быков надо кормить рисом и ячменем, а в день поединка скармливать им сырые яйца и поить сакэ. Если учесть, что быков двадцать два, получается целая гора продуктов. Тасиро сказал, что все его попытки достать корм в префектурах Эхимэ и Хёго, а также в осакской префектуре ни к чему не привели. Поэтому придется идти на поклон к Окабэ — другого выхода нет.

— А у Окабэ есть рис и ячмень, сакэ и яйца в избытке — по крайней мере, его запасов хватит, чтобы два-три дня кормить двадцать, а то и тридцать быков.

Разъясняя ситуацию, Тасиро продолжал следить за погрузкой и время от времени давал отрывистые указания грузчикам. Цугами показалось, будто его незаметно оплетают невидимые глаза, но прочные нити, и он с тревогой подумал, что ему уже не выпутаться из этих тенет, а этот наглец Тасиро отныне заставит его во всем плясать под свою дудку. Но вопрос с кормом для быков требовалось решить немедленно, и он сказал:

— Хорошо, я сам переговорю с Окабэ.

Цугами отошел от грузовика и направился туда, где собрались погонщики и хозяева быков. Между ними уже шныряли прибывшие из редакции репортеры, болтали с погонщиками, щелкали фотоаппаратами. В семь часов началась подготовка к шествию. Когда на спины быков накинули яркие попоны, появился куда-то исчезавший Тасиро. Он уже успел сменить брюки на спортивные бриджи, вместо длинного кожаного пальто на нем была куртка, на голове — охотничья шапка с козырьком. В его обязанность входило следить за порядком колонны с замыкавшего ее грузовика.

К Цугами подскочил фоторепортер и попросил на час ускорить начало шествия, иначе фотографии не успеют попасть в газету. Цугами обещал переговорить с Тасиро. Колонна действительно выступила несколько раньше. Это было красочное зрелище. Перед каждым быком несли флаг с его именем, затем шествовал сам бык, по обе стороны которого шагали погонщи-

ки, потом, с интервалом в два метра, — следующий флаг, бык, погонщики... Колонна растянулась на добрую сотню метров. Ее замыкал грузовик, набитый владельцами быков и репортерами. Над грузовиком развевался флаг «Новой осакской вечерней газеты».

Как только грузовик тронулся, с него ловко соскочил Тасиро, подбежал к Цугами и с улыбочкой, как бы между прочим шепнул:

— Приготовьте завтра к двум часам сто тысяч иен. Хоть мы и договорились уплатить погонщикам после боя быков, эти мерзавцы потребовали деньги вперед. Прошу прощения за лишние хлопоты, но вы уж постарайтесь.

Цугами сразу приуныл, но сказать о том, что у газеты не осталось таких денег, не решился. Он медлил с ответом, а Тасиро сделал вид, будто не заметил его замешательства.

— Вроде бы это все, что я хотел вам сообщить, — задумчиво произнес он, потом помахал рукой на прощанье и, резко наклонив вперед свое плотное тело, помчался догонять грузовик. Концы его вылезшего из-под куртки кашне развевались на ветру.

Цугами в одиночестве вернулся в Осаку и пошел в редакцию. На лестнице он столкнулся с дежурным, который, сообщив, что в приемной его уже более двух часов дожидается посетитель, протянул визитную карточку. На ней стояло: президент фармацевтической компании «Тоё сэйяку» Китиносуке Миура. Тот самый Миура — новый человек в промышленных кругах Осаки и преуспевающий делец. Рекламу его таблеток «Свежесть» в последнее время можно увидеть повсюду — в газетах и журналах, в электричках, автобусах и просто на улице.

Миура сидел на стуле, склонившись над «Таймом» или каким-то другим иностранным журналом, и что-то отчеркивал в нем красным карандашом. Заметив Цугами, он встал и, ослепительно улыбнувшись полным зубов ртом, представился:

— Я Миура.

На вид ему можно было дать лет тридцать. Длинные волосы, бордовый галстук, небрежно завязанный крупным узлом,

делали его похожим на преуспевающего помощника режиссера. Поспешность, с какой он поднялся со стула, создавала впечатление готовности энергично вступить в поединок с противником.

— Позвольте обратиться к вам с предложением. Не согласитесь ли вы продать мне все билеты на бой быков с двадцатипроцентной скидкой?

Миура без всяких предисловий приступил к делу, даже не удосужившись снова присесть. Цугами в первый момент растерялся — он никак не мог понять: что замышляет этот словно с неба свалившийся субъект? Чтобы выиграть время, он предложил Миуре присесть, окинул его взглядом: белоснежный воротничок сорочки, начищенные до блеска ботинки — одежда этого молодого франта по нынешним временам свидетельствовала о солидном доходе и откровенном желании его продемонстрировать. Потом Цугами остановил взгляд на его лице, на котором особенно выделялись глаза — тревожные и жаждущие. Лицо говорило о воспитанности, откровенности и отваге. В глазах же отражался не только молодой задор, но настойчивость и даже упрямство в достижении цели.

Заметив, что Цугами тянет с ответом, Миура, как бы желая предоставить ему некоторое время на раздумье, не спеша вытащил из кармана портсигар, извлек из него дорогую сигарету, щелкнул зажигалкой и выпустил длинную струю ароматного дыма. И только после этого, спокойнее и тише, чем прежде, сказал:

— Выгодное же дельце задумал этот господин, а нам-то что это сулит, наверное, подумали вы. Безусловно, на моем предложении ваша газета теряет двадцать процентов, но, с другой стороны, вы можете сегодня же за все получить наличными и будете гарантированы от убытков в случае дождя, землетрясения или любого другого стихийного бедствия, которое может помешать осуществлению ваших планов.

Миура скрестил ноги и внимательно посмотрел на Цугами, ожидая, какую реакцию вызовет его предложение. Цугами же по-прежнему пребывал в нерешительности, не зная, как следует ему реагировать. Угадав его состояние, Миура добавил:

— Не извольте беспокоиться. О том, что я скупил у вас билеты, никто не узнает. Для всех непосвященных продавать их будет ваша газета, как свои собственные.

— А в каких, собственно, целях вы хотите приобрести билеты? — прервал, наконец, молчание Цугами.

— Для рекламы.

— Интересно. — Цугами почувствовал, как у него свело скулы и вспыхнуло желание дать отпор этому самоуверенному юнцу. — Объясните, каким образом вы намерены осуществить рекламу. Пока я это не уясню, весьма затруднительно дать вам определенный ответ.

Цугами с удивлением отметил про себя, что, подражая Миуре, он избрал такой же отрывистый и деловой тон разговора. Это вызвало у него легкое раздражение. По словам Миуры, он к каждому входному билету, приобретенному с двадцатипроцентной скидкой, приложит пакетик со своими таблетками «Свежесть». Таким образом, зритель, купивший входной билет, получит как премию пакетик «Свежести» стоимостью в семь иен. Газете тоже будет польза, поскольку премия к билету в виде пакетика «Свежести» привлечет новых посетителей.

— Итак, вы приобретаете билеты с двадцатипроцентной скидкой и к каждому приложите свою «Свежесть» стоимостью семь иен. Скажите, вся эта операция принесет вам прибыль или убыток?

— По моим расчетам, ни то, ни другое.

— Значит, ни прибыли, ни убытка? — Цугами глядел на Миуру с притаившейся в уголках губ легкой усмешкой. — Короче говоря, вы получите возможность бесплатно рекламировать вашу «Свежесть».

— Верно, в том случае, если мы распродадим все билеты. — На этот раз усмехнулся Миура. — Если же часть не будет продана, то сумма убытков окажется тем выше, чем больше останется в кассе билетов. Здесь я, безусловно, иду на определенный риск, в некотором смысле даже на аферу.

Миура все это время смотрел прямо в лицо Цугами и лишь на мгновение опустил глаза, когда прикуривал от зажигалки. А Цугами все еще не мог решить, выгодно ли для газеты предло-

жение Миуры. Он быстро подсчитал, что продажа всех билетов с двадцатипроцентной скидкой в случае успеха их предприятия сократит доход на шестьсот восемьдесят тысяч иен, что было бы крайне досадно. В то же время его привлекала идея получить вперед сразу восемьдесят процентов всей стоимости билетов — особенно теперь, когда он ломал себе голову, как раздобыть всего лишь сто тысяч иен, о которых просил Тасиро. Но в тот самый момент, когда он услышал от Миуры с вызовом брошенные слова «иду на аферу», его решение окончательно созрело:

— К сожалению, не могу принять ваше предложение. Боюсь, если каждому посетителю будут вручены пакетики со «Свежестью», неизбежно создается впечатление, будто бой быков проводится за ваш счет.

— В самом деле? — разочарованно произнес Миура, и Цугами показалось, что кровь стала медленно отливать у него от лица. Тогда Цугами, впервые ощутив свое превосходство над младшим по возрасту Миурой, решил кинуть ему спасительную веревку.

— Все билеты уступить вам не представляется возможным, но, если уж так вам это необходимо, могу предложить пять тысяч билетов на первые ряды — по пятьдесят иен.

— На первые ряды? Это меня не устраивает. — Голос Миуры звучал надменно. Видимо, на него подействовал тон Цугами, и он произнес эту фразу не как человек, которому отказано в просьбе, а так, будто сам отказывается от сделанного ему предложения. — Моя реклама не рассчитана на посетителей, которые приобретают билеты на лучшие места. Даже скупив у вас все билеты, я заранее исключаю именно самые дорогие из сферы воздействия рекламы «Свежести».

По словам Миуры, после войны многое переменилось. Прежние средние классы, с удовольствием покупавшие снадобья вроде «Свежести», которые в общем-то не представляют собой лекарства в истинном смысле слова, обнищали и приобретают на зрелища лишь самые дешевые билеты, а лучшие места теперь занимают представители новых влиятельных прослоек, которых «Свежесть» абсолютно не интересует, и рекламировать им эти таблетки — все равно что пускать деньги на ветер.

— Так как же? — заключил Миура. — Может, все же уступите мне все дешевые билеты?

— Не могу. Как раз дешевые билеты разойдутся сами собой без всякой рекламы. А вот в дорогих я не уверен.

— Крайне сожалею, что нам не удалось договориться, — вздохнул Миура. Он на минуту задумался, потом решительно встал и, глядя в упор на Цугами, сказал:

— По сведениям бюро погоды в ближайшие дни ожидается дождь.

— Знаю, — перебил Цугами этого невоспитанного юнца. — Для нашей газеты нынешнее предприятие тоже связано с риском.

— Ну что ж, — произнес Миура, беря шляпу. Видимо, он понял, что дальнейшие переговоры ни к чему не приведут, и на его лице появилась непринужденная улыбка. До чего же деловой и неунывающий юноша, подумал Цугами.

— Позвольте мне все же завтра часов в девять утра снова взглянуть к вам. А до этого прошу еще раз обдумать мое предложение.

— Заходите, пожалуйста, но вряд ли вы услышите что-либо новое.

Беспричинная печаль и усталость и ко всему прочему сожаление нахлынули на него и отравили душу после ухода Миуры. Наверно, следовало бы договориться с ним о продаже хотя бы половины билетов — наличные деньги сейчас так нужны... И что же такое есть в Миуре, что не позволило пойти ему навстречу, думал Цугами. Однако он вскоре отбросил в сторону свои размышления: предстояло еще так много сделать для организации зрелища.

Наскоро перекусив в кафе, Цугами направился в редакцию и стал просматривать только что вышедший пробный оттиск газеты. Треть полос занимали материалы, связанные с «бычьим сумо». Фотографии шествия быков, снятые в Санномия, казались чересчур броскими, но все же подходящими, если учесть, что до начала состязаний оставалось всего два дня. Неплохо была написана молодым репортером и статья — в меру живо и

остроумно. И так, с этим в порядке. Цугами, облегченно вздохнув, закурил. На сегодня оставалось еще завершить два дела: найти сто тысяч иен и решить вопрос с кормом для быков.

В три часа дня Цугами вышел из редакции, сел в машину и направился в оффис Окабэ в Амадзаки. Машина остановилась у обширного двухэтажного деревянного здания, которое занимала компания «Хансин когё». Дом, целиком покрашенный в бледно-зеленый цвет, сверкал широкими окнами, что делало его похожим на санаторий. Обширный кабинет президента компании находился на первом этаже. За огромным столом сидел развалившийся Окабэ. Увидев Цугами, он с возгласом: «Ага, вот вы и пожаловали!» — крутанулся на вращающемся кресле и с самодовольным видом уставился на вошедшего. В углу кабинета топилась железная печка, от которой волны тепла распространялись по комнате. Несмотря на пасмурный день, в кабинете было светло: южная стена была сплошь из стекла. Со времени их последней встречи в минувшем году в подвале того мрачного здания в Умэде Окабэ сильно сдал.

С присущей ему наигранной доброжелательностью он разлил по стаканам принесенное служителем виски.

— Эта штука все же лучше, чем чай. Пейте — и не будем сегодня спешить.

Он заставил Цугами выпить пару стаканчиков, сам же успел опрокинуть четыре, глотая виски так, будто запивал водой лекарство. С каждым стаканчиком Окабэ на глазах веселел и становился все более красноречивым. Цугами сказал, что время его очень ограничено: через два дня бой быков и дел невпроворот. На что Окабэ ответил:

— Вся работа надо перекладывать на подчиненных. Ваша обязанность — составлять планы и требовать их исполнения. И все! Сверх того ничего делать не следует. Взгляните на меня! Я целыми днями сижу здесь без особых забот. Вы, наверно, подумаете, что в таком случае без меня можно обойтись. Ничего подобного! Исчезни я — и в тот же день вся эта компания развалится. — Окабэ беспечно рассмеялся.

— У нас в газете по-другому... — начал Цугами, но Окабэ перебил его:

— Верно! И все же если до сих пор вам еще приходится суетиться, значит, с боем быков дело не выгорит! Поэтому оставьте все ваши заботы, садитесь и пейте виски.

Окабэ, видимо, оседлал любимого конька и начал увлеченно излагать свое кредо о том, как добиться успеха, подкрепляя его эпизодами из собственной жизни.

— Я готов составить вам компанию, — через силу улыбаясь, перебил его Цугами, — но прежде хотелось бы покончить с делом, которое привело меня сюда.

— Что за дело? Говорите, не стесняйтесь.

— Мне срочно нужно по два коку * риса и ячменя, а также два коку ** сакэ. — Цугами умышленно попросил много больше, чем требовалось. Ему хотелось узнать, на что в действительности способен этот Окабэ, с которым он встречался во второй раз, но которого никак не мог раскусить. Цугами рассказал, для чего ему нужны рис, ячмень и сакэ, и попросил, если это возможно, доставить их в контору стадиона Хансин завтра до полудня.

— Ну и гость ко мне заявился, — со смехом воскликнул Окабэ, потом сказал: — Хорошо, не беспокойтесь, все будет сделано в срок.

— Что касается оплаты...

— Никаких денег. Компания «Хансин когё» дарит вам все это.

Цугами возразил, что не может принять такой подарок, и вновь попросил назвать цену услуг.

Окабэ снисходительно улыбнулся:

— Моя компания достаточно богата, и это дар от чистого сердца. Считайте, что с делами покончено, а теперь выпьем. Не знаю почему, но вы мне очень нравитесь.

Цугами решительно поднял свой стакан и чокнулся с Окабэ. Ему как-то не верилось, что человек, который сидит сейчас перед ним и благодушно потребляет виски, настолько циничен и вероломен: ведь совсем недавно, не моргнув глазом, он перебрал контрабанду в вагонах для транспортировки скота!

* Одно коку риса — 150 кг.

** Одно коку сакэ — 180 литров.

Окабэ распорядился принести сыру и приготовить ужин. Затем они еще добрых два часа выпивали и закусывали. Говорил главным образом Окабэ, Цугами же рассеянно слушал его и думал о предстоящем бое быков. Хозяин без умолку разглагольствовал то о своей компании, то о политике, то о религии, то о женщинах. Его откровения, когда срывались с языка, казались удивительно интересными и поучительными, но, достигнув ушей Цугами, превращались большей частью в банальные прописные истины. Наконец, Окабэ опьянел настолько, что уже едва ворочал языком. Тогда заговорил Цугами, чтобы выяснить наконец то, что так его волновало с самого начала:

— Два коку риса и ячменя — это кое-что значит. Как же вам удастся получать столько зерна?

— Нет ничего проще, — воскликнул Окабэ. — Я поставляю в деревню сельскохозяйственный инвентарь. Взамен получаю соломенные мешки. А теперь представьте себе, что в каждый мешок насыпают одно сё * риса. Это почти незаметно для постороннего глаза. Но даже если вдруг все вскрыется, можно сказать, что рис остался по недосмотру. А теперь скажите, сколько будет, если одно сё умножить на сто, двести, тысячу...

Усталость и алкоголь брали свое. У Цугами закрывались глаза. С трудом приподымая отяжелевшие веки, он глядел в окно — на улице сгущалась тьма. Стекла затуманились, и капельки воды, стекая вниз, оставляли рельефные извилистые дорожки.

— А теперь подсчитайте: моя компания вывозит инвентарь примерно в тридцать деревень каждой префектуры, в одном лишь районе Кинки с его шестью префектурами мы имеем дело со ста восьмьюдесятью деревнями, а из каждой деревни мы получаем по сотне мешков. — Окабэ уже сильно захмелел, и его рука описывала в воздухе странные круги, прежде чем ему удалось поднести стакан ко рту. Цугами, который то погружался в туман опьянения, то выныривал оттуда, слушал расчеты Окабэ и никак не мог уяснить, кто его благодетель: крупный мошенник или мелкий жулик.

* Одно сё — 1,8 литра.

На следующий день Цугами проснулся в редакционной дежурке около восьми утра. Перекусив, он поднялся в приемную, куда к девяти должен был прийти Миура. Там у окна около большой фарфоровой жаровни сидел Омото, который обычно появлялся лишь во второй половине дня. Директор болтал с дежурившими молодыми журналистами, но, заметив Цугами, воскликнул:

— Все небо затянуто тучами, но будем надеяться, что завтра обойдется без дождя.

— Обойдется, — буркнул Цугами. — Несколько дней погода еще продержится: передали, что область низкого давления на юге начала смещаться к востоку.

Сейчас Цугами беспокоила не столько погода, сколько то, где достать сто тысяч иен, которые до двух часов надо передать Тасиро.

Еще вчера после попойки с Окабэ он пытался связаться с двумя предпринимателями, но один из них уехал в Токио, а другой ответил, что наличные появятся у него лишь через несколько дней. С самого утра перед Цугами маячило лицо Миуры. Ему казалось, что, только согласившись перепродать билеты, он сумеет достать эти проклятые сто тысяч.

Узнав о предложении Миуры, Омото, посерьезнев, сказал:

— Если погода ухудшится, Миура, наверное, не придет. Тебе следовало договориться с ним вчера.

В этих словах сквозило явное недовольство действиями Цугами.

— Нет, Миура придет, — возразил Цугами. — Он обещал быть в девять. Он не тот человек, который в течение суток может переменить свои планы.

Омото саркастически заметил:

— Учти, это прожженный делец.

И все же, как и предполагал Цугами, без пяти девять в приемной появился Миура и не мешкая приступил к делу:

— Мое мнение: на восемьдесят процентов — будет дождь, на двадцать — сохранится хорошая погода. Я сейчас в положении канатоходца, с риском для жизни балансирующего на проволоке. И все же я делаю ставку на эти двадцать процентов. Итак,

господин Цугами, что вы теперь скажете о нашем разговоре?

Хотя Миура и сравнил себя с «канатоходцем, с риском для жизни балансирующим на проволоке», он несколько не колебался, предлагая сделку. Как и накануне, он прямо глядел в глаза собеседнику и с поистине наглым спокойствием ожидал ответа. И тут случилось неожиданное.

— Давайте не будем больше об этом говорить, — послышался голос Омото. Слова эти прозвучали настолько резко, что Цугами чуть не поперхнулся. Видимо, самоуверенность Миуры подействовала на Омото, как красная тряпка на быка. «Как? Из-за этого юнца потерять шестьсот восемьдесят тысяч иен?! Ни за что!»

— Вот как? Понимаю, — улыбаясь неизвестно чему, произнес Миура и, больше не касаясь своего предложения и поговорив для приличия несколько минут о нынешних тенденциях в экономике, решительно направился к двери с видом человека, успешно закончившего важные переговоры.

Проводив Миуру, Омото, еще не остывший от охватившего его возбуждения, сказал:

— Сто тысяч иен я постараюсь раздобыть сам. К полудню принесу. — Потом вытер лицо платком и добавил: — А завтра, я уверен, будет хорошая погода и никакого дождя — попомни мои слова, Цугами.

Омото ушел и вернулся чуть позже двенадцати. Передавая Цугами сверток, он вскользь предупредил, что деньги взял у друга. Тем самым он дал понять, что вернуть их надо будет с процентами. О своей выгоде Омото не забывал.

Не было и двух часов, когда Цугами появился на стадионе. Тасиро был в конторе и курил, поставив жаровню между ног.

— Все в порядке? — спросил он.

— Вот, возьми! — Цугами вытащил из портфеля объемистый сверток и небрежно кинул его на стол.

— Прекрасно! Вот за это спасибо! — Тасиро не спеша стал рассовывать деньги по карманам своего кожаного пальто. То, что не поместилось, он завернул в фуросики *.

— Было бы неплохо получить еще тысяч двести — триста, да

* Фуросики — цветной платок для завязывания в него вещей.

не люблю иметь при себе слишком много наличных, — хрипло рассмеялся Тасиро.

Тут появился дежурный журналист.

— Представляешь, — воскликнул он, обращаясь к Цугами. — В четыре утра раздается стук в дверь. Я проснулся, спрашиваю, что случилось, а мне говорят: принимайте рис, ячмень и сакэ!

Значит, Окабэ, который осушил вчера две бутылки виски и едва держался на ногах, все же не забыл о своем обещании.

Цугами кивнул, пристально взглядываясь в окно, где среди голых ветвей ему почудились маленькие, насмешливые глазки Окабэ.

Вечером в ресторане в Нисиномия Цугами дал банкет в честь владельцев быков. От газеты присутствовали Омото, Цугами и несколько репортеров. Все прошло гладко, если не считать одного забавного случая. Хана Митани, владелица быка, которому прочили победу в завтрашнем поединке, полная женщина лет сорока, внешне мало похожая на крестьянку, впала в истерику, опрокинула стол и, громко крича, стала поносить своего соседа.

— От кого другого, а уж от Кавасаки ни за что не приму чашку с сакэ, — кричала она. — Нам нужна победа. Я все поставила на карту, направляясь сюда. Старик отец и дети мои сейчас совершают омовение, чтобы молитвы их дошли до Будды!

С покрасневшим от сакэ лицом Хана Митани стояла, прислонившись к стене, и орала на своего соседа. Она не была пьяна. Просто страстное желание победы привело ее в состояние, граничащее с помешательством. И когда Кавасаки — владелец быка, которому тоже прочили победу, — предложил ей выпить чашку сакэ, нервы ее не выдержали.

— Что и следовало ожидать, — сказал Тасиро, подходя к Цугами. — Газета создала нездоровый ажиотаж вокруг предстоящего зрелища. — С чашкой сакэ в руках Тасиро стал обходить столы, успокаивая возбужденных гостей. Цугами же в это время думал о том, что, занятый подготовкой зрелища, он забыл самое существенное: поединок — это сражение живых существ, и не столько быков, сколько их владельцев. Да и не только он. Об этом забыли Омото и Окабэ, Миура и даже Тасиро.

Цугами проснулся в дежурной комнате на третьем этаже.

Монотонный шум снаружи заставил его буквально выпрыгнуть из постели и броситься к окну. Дождь! Он настежь распахнул створки и высунул руку наружу. Редкие холодные капли ударили в ладонь. Видимо, дождь начался недавно. Цугами взглянул на часы. Пять утра. Цугами был в спальном кимоно и вскоре почувствовал, что его бьет дрожь от утреннего холода. Он быстро накинул пальто, по темной лестнице на ощупь спустился на второй этаж и из редакторской комнаты позвонил на метеостанцию. Заспанный недовольный голос дежурного сообщил прогноз: «Облачность с прояснениями». Не успел Цугами возразить, как в телефонной трубке раздались короткие гудки.

Вернувшись в дежурку, Цугами забрался в постель и попытался уснуть. Но сон не шел. Дождь усилился, пошел град, время от времени порывы ветра хлестали в окно мокрой крупой. В семь утра, так и не сомкнув глаз, Цугами встал. Зазвонил телефон.

— Черт подери, дождь! — послышался голос Омото.

— При небольшом дожде можно начинать. До девяти утра еще два часа времени, — возразил Цугами.

— Но ты не видишь, что дождь усиливается? — В голосе Омото звучала растерянность.

К восьми часам в редакции собрались все сотрудники, имевшие отношение к бою быков. Дождь то ослабевал, то вновь разражался с еще большей силой. Было все же решено ехать в контору, и все присутствующие, разместившись в пяти машинах, отправились на стадион.

В конторе одиноко сидел Тасиро и прихлебывал чай. С висевшего на гвозде кожаного пальто стекали капли дождя.

— Да, попали мы в переплет. Но ничего, любое дело подстерегают неожиданности, — пробормотал он.

На сразу постаревшем лице его особенно резко выделялись морщины. Тасиро казался спокойным, но это было спокойствие неудачника. Чуть позже прибыл Омото. Он был очень расстроен, ни с кем не заговаривал и лишь нервно мерил шагами комнату. Время от времени он выходил наружу, возвращался промокшим до нитки, плюхался на стул и с неприступным видом набивал табак в трубку.

К десяти часам дождь ослабел и небо начало проясняться.

— Ну, дождик вот-вот кончится, и засияет солнышко, — весело сказал кто-то.

— Может, начнем в час? — предложил Омото.

— Соберется тысячи три — не больше, — возразил Цугами, который пока еще не проронил ни слова. Голос его прозвучал отрешенно.

— Пусть соберется три тысячи, пусть даже две — все равно надо поскорее начинать, иначе прогорим! — настаивал на своем Омото.

К одиннадцати часам дождь прекратился. Сотрудники газеты помчались к ближайшим станциям электрички и стали расклеивать наскоро изготовленные объявления: «Бой быков начнется в два часа!» То же сообщали громкоговорители, установленные на стадионе.

К двум часам понемногу стали собираться зрители: старики и студенты, дети и домохозяйки с неказистой снедью, завернутой в фуросики, демобилизованные солдаты, еще не снявшие форму, и нарядно одетые молодые парочки — в общем, публика самая разношерстная. Из окна конторы было видно, как люди небольшими группками пробирались на свои места.

Цугами стоял у ближних рядов и бесстрастно, словно посторонний, наблюдал, как узкими, но непрекращающимися ручейками зрители втекают в чашу стадиона. Каждые десять минут прибавлялось по сотне — это он проверил по часам. Ему казалось, что поток постепенно ширится. И все же он понимал, что более половины мест останутся незанятыми. Срок аренды был строго ограничен тремя днями, и ни о каком переносе боя из-за дождя не могло быть и речи. Поэтому даже один неудачный день означал крах всего предприятия.

С того места, где стоял Цугами, виднелись поля, тянувшиеся до подошвы далеких гор Рокко. Среди полей там и сям были разбросаны заводы и группы домов, съездившихся, казалось, под нависшими над ними тяжелыми черными тучами. Весь пейзаж напоминал сделанное тушью изображение на фарфоре, от которого веяло холодом. На горах Рокко кое-где еще сохранился снег, узкими полосами спускавшийся от вершины вниз. Глядя

на эти снеговые полосы, Цугами пытался справиться с охватившей его усталостью. Ему казалось, будто лишь там, среди снегов, сохранилась чистота, которая исчезла, улетучилась из этой страны, потерпевшей поражение в войне.

Над загоном были вывешены яркие флаги с именами быков. Сейчас они, мокрые от дождя, тяжело свисали на древках. Мог ли Цугами, отдавший за последние три месяца столько сил организации этих состязаний, предположить, сколь жалкая картина откроется перед его глазами сегодня! В отличие от Омото, старавшегося хоть как-то сократить огромный ущерб, который понесет — теперь это уже было ясно! — газета, Цугами равнодушно взирал на жалкие итоги своих трудов. Он с особой силой ощутил свое одиночество перед неумолимо надвигающейся катастрофой. Его охватило чувство невыносимой досады, недовольства собой за допущенный просчет — то самое чувство, какое испытывает борец сумо, которого медленно, но неумолимо выталкивает противник за край ринга.

Тем не менее к двум часам на стадионе собралось тысяч пять зрителей, но, когда Омото обратился к ним с приветственной речью, усиленной тридцатью шестью громкоговорителями, снова начал моросить дождь, который перешел в настоящий ливень, лишь только на ринг вывели первую пару быков.

— Придется отменить, зрители начинают расходиться, — сказал один из журналистов, подойдя к Цугами, который сидел за столом судейской коллегии.

— Что ж, объявите, что на сегодня бой быков отменяется.

Цугами встал со своего места, пересек по диагонали ринг и поднялся на верхний ярус. Там еще оставалось около тысячи зрителей. Раскрыв зонтики либо с головой накрывшись пальто, они стояли, нервно переминаясь с ноги на ногу, и сердито смотрели в сторону ринга. Как только объявили об отмене боя быков, зрители зашумели и двинулись к выходу. Лишь один Цугами оставался неподвижным среди зашевелившейся толпы, словно хотел собственным телом защитить нечто, неудержимо рушившееся у него на глазах. Впервые ощутив всю глубину своего поражения, он присел на мокрую скамейку и замер, не замечая низвергавшихся на него потоков воды.

Внезапно над ним раскрылся зонтик, и сетка дождя отступила. Даже не оборачиваясь, он понял, что рядом с ним Сакико.

— Глупый, так ведь недолго и простудиться. Вставай скорее! — В ее глазах можно было прочитать одновременно и сочувствие, и неприязнь.

Цугами встал.

— Пожалуй, тебе лучше поехать домой, в Нисиномия, — сказала она.

Он невидящими глазами посмотрел на нее и, словно очнувшись, сказал:

— Подожди немного, улажу кое-какие дела и вернусь.

Пробираясь сквозь шедшую навстречу толпу, они спустились к главному входу, где Цугами оставил Сакико и зашел в контору. Он уже пришел в себя, и только побледневшее лицо напоминало о недавних переживаниях. Омото в конторе не было. Цугами сообщили, что Омото сел в машину и уехал в редакцию. Он вытер носовым платком мокрые от дождя волосы, несколько раз провел по ним расческой, поправил галстук и закурил. Затем с необычайной решительностью и быстротой он начал одно за другим улаживать самые неотложные дела: все, что касалось быков, перепоручил Тасиро; дал подробные указания журналистам относительно статей в завтрашний номер газеты; потом собрал всех сотрудников, находившихся в конторе, и объявил:

— Если завтра с утра будет дождь, бой быков отменяется в любом случае. Лучше сделаем максимум, чтобы обеспечить успех в последний день, послезавтра. — Слова Цугами прозвучали как приказ, но, может быть, и как приговор.

Затем он распустил всех дежурных по домам и пошел к выходу. Вместе с совершенно продрогшей Сакико они сели в последнюю редакционную машину. Откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза, он замер, уткнувшись в мокрый воротник пальто искаженным от страдания лицом. Время от времени Цугами закусывал губу и тихонько стонал. Сакико несколько раз пыталась заговорить с ним, но он в ответ лишь молча покачивал головой. Сакико не отрываясь глядела на любимое лицо. Впервые она подумала о том, что это живое существо принадлежит ей. Сакико казалось, будто несчастный блудный сын вернулся до-

мой — и не к кому-нибудь, а именно к ней. Победоносное материнское чувство охватило ее. Да, она любила его, но это была странная любовь, порождавшая ощущение некой жестокой радости. В ее сердце как бы существовали рядом нежность и отчужденность. Глядя на Цугами, она думала, что готова обвить его руками и ласкать без конца и в то же время могла бы без всякого сожаления оттолкнуть от себя. Никогда за три года их знакомства такие мысли не приходили ей в голову — ведь до сих пор именно он то расставался с Сакико, то призывал ее обратно и вновь прогонял. Она вынула носовой платок и, немного стесняясь шофера, стала вытирать мокрое от дождя лицо Цугами.

К вечеру второго дня дождь, ливший почти без перерыва, прекратился. Наутро установилась прохладная ясная погода — самая подходящая для поединка. К девяти часам было продано шестнадцать тысяч билетов — не так уж мало, но все же меньше, чем рассчитывали устроители.

Омото чуть не ежечасно подходил к кассе, подсчитывая, на какую сумму сокращается колоссальный ущерб, который понесла газета за первые два дня. Тасиро тоже нервничал. Он то поднимался на самый верхний ярус стадиона, наблюдая за потоком людей, спешивших сюда с пригородных станций электрички, то, путаясь в полах своего кожаного пальто, поспешно спускался вниз. С самого утра тоже мысленно занимаясь подсчетами, он, в отличие от Омото, временами испытывал острые приступы отчаяния и, не находя себе места, то появлялся у стола судейской коллегии, то бродил среди зрителей, то подходил к ограде, где были привязаны быки. Иногда он вытаскивал из кармана флажку с виски, не спеша отвинчивал крышку и прикладывался к горлышку.

Тасиро, как и Омото, совершенно не следил за ходом поединков. Зрелище сцепившихся рогами быков представлялось им чуждым и бессмысленным.

Цугами сидел за столом судейской коллегии. Перед ним громоздились призы, почетные грамоты, стопки программ. Временами Цугами ловил на себе взгляды сотрудников редакции, угадывая в них либо сочувствие, либо злорадство и неприязнь.

Он сидел здесь с утра и, подобно Тасиро и Омото, ничего не видел: ни боя быков, ни заполнивших трибуны людей, ни результатов боев на огромном табло. Репродукторы вопили без умолку, комментируя ход боя, но Цугами ничего не слышал. Все происходящее представлялось ему неким бессмысленным празднеством, к которому он не имел никакого отношения. Иногда от порыва северо-западного ветра хлопал парусиновый тент, натянутый над судейским столом, почти одновременно над полем взлетали обрывки бумаги. В голове Цугами уже зрел новый план: следующий бой быков провести летом в Токио. Можно было бы продать эту идею Обществу по охране домашних животных либо министерству сельского хозяйства и лесоводства, а может и министерству финансов. Он бы принес больше дохода, чем лотереи, да и затмил бы все остальные зрелища! Таким образом можно было бы возместить ущерб, понесенный Тасиро, и залатать дыру в бюджете газеты. Новая идея увлекла Цугами, а отчаяние и безнадежность отхлынули, словно волны от неприступной скалы. Нет, нынешний провал ему уже не страшен.

К трем часам кассы продали тридцать одну тысячу билетов. На большее рассчитывать не приходилось.

— Теперь можно и подсчитать убытки, — сказал Тасиро, неизвестно откуда возникший перед Цугами. — Миллион иен. Если поделить пополам, получается по пятьсот тысяч на брата.

Тасиро нахально сел прямо на стол, где лежали призы и грамоты. А когда кто-то из судей сделал ему замечание, он без всякого смущения плюхнулся рядом с Цугами на место председателя судейской коллегии, взял сигарету изо рта Цугами и прикурил от нее. Чувствовалось, что Тасиро сильно навеселе.

— Господин Цугами, по нынешним временам пятьсот тысяч не такие уж большие деньги, но дело в том, что мне их дал взаймы мой братец. И под большие проценты! А братец мой, скажу я вам, тот еще субъект... и-и, такой скупердяй, какого еще свет не видывал. Эх, противно все, так противно, что слов нет. — Тасиро воздел руки к небу, пошевелил скрюченными пальцами, потом обхватил руками голову и сник. Полы его пальто откинулись, и Цугами заметил, что подкладка внизу распоролась. Он внезапно подумал, что до сих пор совершенно не интересовался личной

жизнью Тасиро, не спрашивал его о жене и детях. Глядя на распоровшуюся подкладку, Цугами решил: Тасиро, видимо, одинок, жена умерла, либо они расстались. По крайней мере, в облике Тасиро что-то подсказывало ему, что он несчастен. — Предприятие — такая штука, господин Цугами, всегда может обернуться не той стороной. Пойду-ка пройдуся еще разок, — пробормотал он и нетвердой походкой, но с невозмутимым видом направился к загону для быков, глубоко засунув руки в карманы кожаного пальто.

Не успел Тасиро уйти, как с противоположной стороны к судейскому столу стал проталкиваться Миура. Увидев его, Цугами даже привстал. А тот как ни в чем не бывало произнес:

— Благодарю вас, что соизволили вчера меня принять. — Если бы не широкий стол, он, наверно, пожал бы Цугами руку. — Сегодня хочу сделать вам еще одно предложение. — В его словах, в тоне, каким они были сказаны, никто не смог бы уловить и признаков насмешки или торжества, как и сочувствия или сожаления. Вид его был сухо-деловой. — Я слышал, вы хотите устроить фейерверк. Если так, то в петарды можно было бы заложить сотню листовок с рекламой «Свежести». Тот, кому они достанутся, получит у выхода коробочку «Свежести». Все расходы на фейерверк я беру на себя.

— Прекрасно, — сказал Цугами. — Можете заложить в петарды хоть двести листовок — сколько хотите! О расходах на фейерверк не извольте беспокоиться. Мы ведь тоже заинтересованы, чтобы бой быков завершился достойно.

Миура помахал кому-то рукой, и к судейскому столу подбежали двое мужчин — видимо сотрудники его компании. Он обменялся с ними несколькими словами и, повернувшись к Цугами, сообщил, что эти двое во время фейерверка будут заниматься его делами.

Сам же он вынужден откланяться — много работы. С этими словами Миура поспешил со стадиона, даже не взглянув на ринг.

При разговоре с Миурой Цугами постоянно ощущал какое-то напряжение. В этом молодом человеке чувствовались холодная самоуверенность и твердость, которые, как и в первую встречу, порождали неприязнь. И дело не в свойственном Миуре эгоизме

делового человека, которого ничто, кроме очередной сделки, не интересует, не в рационализме и погоне за прибылью, не в презрительном высокомерии, проскальзывающем в алчущем взгляде его глаз. Здесь было нечто иное, некая абсолютная несовместимость Миуры — ему, видимо, с самого рождения выпал на долю успех во всех его начинаниях — и неудачника Цугами, чья судьба неумолимо вела к катастрофе. Наверно, Цугами ненавидел Миуру за то, что тому предопределено одержать верх.

Стараясь отмахнуться от невеселых мыслей, Цугами стал оглядывать стадион. Там, где были привязаны быки, ему бросилась в глаза знакомая фигура. Да, это, несомненно, был Окабэ! В сопровождении Тасиро он медленно шел вдоль ограды, останавливаясь около каждого быка и словно приценивался. Цугами понял, что некоторым быкам уже не вернуться в город В., а может быть и всем. Глядя на маленькую фигурку Окабэ, который стоял, скрестив руки, и согласно кивал головой, Цугами уже не испытывал к нему ненависти. Скорее он порицал самого себя за неосмотрительность: ведь он был уверен, что вопрос с покупкой быков давно и окончательно решен не в пользу Окабэ...

Уже около часа с переменным успехом длился бой между главными претендентами на победу — быками, принадлежавшими Митани и Кавасаки. Два огромных животных, сцепившись рогами и угрожающе хрипя, кружили по рингу, но, видимо, силы их были равны, и зрители уже стали терять надежду, что равновесие это когда-нибудь нарушится. Скучное зрелище слишком затянулось, и один из судей высказался за то, чтобы объявить ничью. Цугами предложил обратиться к зрителям: пусть сами решат, продолжить бой или объявить ничью.

— Пусть сначала хлопают в ладоши те, кто согласен на ничью!

Раздались громкие аплодисменты. Но, против ожидания, в ладоши хлопало менее трети зрителей.

— Теперь пусть аплодируют те, кто за бой до победы!

По громовой овации стало ясно, что бой будет продолжаться.

Цугами, решив немного размяться, направился к скамьям первого яруса. Неожиданно он вспомнил, что Сакико во второй половине дня будет ждать его в последнем ряду первого яруса.

Она была на стадионе уже более часа. Безразлично глядя на ринг, она никак не могла понять, зачем Цугами потратил столько сил для организации этого скучного и чуждого современному духу зрелища. Время от времени она посматривала в сторону судейской коллегии. Нет, это уже не тот доведенный до полного отчаяния человек, который позавчера доверил ей все, чем страдала его душа. Его энергичный профиль, резкие жесты — все говорило о том, что сейчас она видит прежнего Цугами — решительного и целеустремленного руководителя газеты. Еще позавчера в укромном уголке его сердца сохранялось для нее место, там была пустота, которую никто, кроме нее, не смог бы заполнить. А сегодня эта уверенность, будто она и есть та самая женщина, без которой Цугами не может жить, обернулась странным и несбыточным сном. Теперь она видела там, внизу, эгоиста Цугами, которого пыталась забыть, не ведая, что сама давно уже им забыта. Всему конец! Цугами больше никогда к ней не вернется. Сегодня Сакико ощутила это с особой остротой и ясностью...

— Благодарю вас за то, что все же не забыли обо мне. — В ее голосе не чувствовалось насмешки. Напротив, эта фраза прозвучала в ее устах вполне естественно — настолько далеким и чужим казался ей сегодня Цугами.

— Сами зрители решили, чтобы бой между быками Кавасаки и Митани шел до конца. Представляешь, две трети потребовали продолжения этого бессмысленного, скучного поединка. — Цугами равнодушно глядел на быков, и в его взгляде не было ни гнева, ни презрения. — Понимаешь, это значит, что две трети зрителей просто держат пари. Их не интересует сам поединок, для них важна личная удача.

Усмешка искривила губы Цугами. Она показалась Сакико холодной и презрительной. Откуда у него это высокомерие? «А разве газета в первую очередь не ведет себя как рядовой зритель, рискуя своим будущим во имя барыша?» — подумала она. И Тасиро рискует, и Омото, и Хана Митани...

— Все держат пари, все идут на риск. Один ты ко всему безразличен... — Сакико сама не ожидала, что бросит ему в лицо столь резкие слова.

На мгновение в глазах Цугами вспыхнул огонь и тут же погас.

Они стали печальными. Заметив, как подействовали на Цугами ее слова, Сакико решила смягчить их и добавила:

— Почему-то мне так кажется. Глядя на то, как ты сегодня ведешь себя.

Внезапно Сакико охватило чувство, какое не назовешь ни страданием, ни гневом. Просто ей захотелось всей своей силой столкнуться с Цугами. И она, на этот раз ощущая ничем не прикрытую ненависть, сказала:

— Ты ведь лично с самого начала ничем не рисковал, ты не тот человек, который идет на риск!

— Ну, а ты? — Цугами задал этот вопрос без всякой задней мысли, но у Сакико перехватило дыхание. Она почувствовала, как кровь отливает у нее от лица, и, криво усмехнувшись, ответила, подчеркивая каждое слово:

— Я?! Я тоже кое-что ставлю на карту.

В тот самый момент, когда Цугами спросил ее: «Ну, а ты?», она приняла решение: если коричневый бык победит черного, они с Цугами расстанутся навсегда. Сакико поглядела на ринг. Там, словно две статуи, недвижимо стояли, сцепившись рогами, два быка: коричневый и черный. В очистившемся от туч небе сверкало зимнее солнце, освещая холодными, негреющими лучами этих быков, бамбуковую ограду и толпы зрителей на стадионе. Погонщики, стараясь оживить поединок, подталкивали животных сзади, били их по бокам. Флаги хлопали на ветру, голос комментатора, многократно усиленный громкоговорителями, повторял одни и те же слова. Трибуны замерли. Зрители как зачумленные глядели на быков. Внезапно от этой зловещей тишины на Сакико повеяло невыносимым страхом и холодом.

И в этот момент тишина взорвалась громовым воплем. Люди повскакивали со своих мест. Равновесие сил, которому, казалось, не будет конца, неожиданно нарушилось, и победитель, дико мыча, закружил по рингу. Сакико не сразу смогла понять, кто одержал верх. Внезапно у нее закружилась голова, и, почти теряя сознание, стараясь не поддаться желанию опереться на плечо сидевшего рядом Цугами, она поглядела на ринг. Там, тяжело дыша, подстегиваемый криками обезумевшей толпы, выписывал замысловатые вензеля коричневый бык.

Азалии в Хира

Как быстро летит время... Уже пять лет прошло, как я в последний раз останавливался в этом отеле. То было весной, за год до окончания войны. Много воды утекло с тех пор, но все предстает предо мной с такой ясностью, будто случилось вчера. Последние дни я почему-то вообще перестал ощущать течение времени. В молодости было иначе.

В недавнем номере анатомического журнала некий автор обозвал меня бодрящимся восьмидесятилетним старцем. А ведь до восьмидесяти мне еще целых два года. И тем не менее это значит, что в чужих глазах я выгляжу стариком. В слове «старец» есть нечто неприличное, оно мне претит. Насколько лучше звучит «старый ученый». Я и есть старый ученый Сюнтаро Миикэ...

Хозяин отеля перечислил с десятков мест, с которых можно любоваться озером Бива, но с гордостью сказал, что Катада — лучшее среди них, а в самом Катаде нет прекраснее отеля, чем его «Рэйхокан». Именно отсюда, особенно из северо-западной комнаты, открывается божественный вид на озеро и горные вершины Хира. Потому-то хозяин и назвал его «Рэйхокан» — «Отель призрачных вершин». И в самом деле, как прекрасна горная цепь Хира, когда глядишь на нее из этой комнаты. Правда, не ощущаешь той шири, как в Хаконэ. Зато как на ладони видишь каждую гору, словно присевшую широким основанием на западный берег озера и пронзающую вершиной облака. Кажется, будто горы нянчат разделяющие их долины, и это придает местной природе неповторимое своеобразие и очарование...

Когда же умер хозяин отеля? Лет двадцать назад? Нет,

пожалуй, побольше. Когда я приехал сюда в связи с самоубийством Кэйсукэ, его уже разбил паралич. Хозяин казался мне дряхлым стариком, а ему ведь было семьдесят — почти на десять меньше, чем мне сейчас. Он с трудом выговаривал слова, и, помнится, спустя месяца два или три сообщили о его кончине.

Здесь все осталось по-прежнему. Мне едва исполнилось двадцать пять, когда я впервые попал сюда. Значит, я вот так же сидел в этой комнате пятьдесят лет назад... Сейчас осталось не так уж и много домов, которые не изменились бы за полвека. На том же месте — за конторкой сбоку от входа, в той же позе, с таким же выражением лица сидит сын хозяина — точная копия отца. И картина на стене, и статуэтка бога Хотэй* остались, пожалуй, все те же, что и в первый мой приезд. А вот мой дом стал совсем другим. В нем переменялось все — и мебель, и люди, и даже мысли этих людей. И с каждым годом, более того, с каждым часом продолжают меняться. Редко встретишь теперь такой дом, где все столь быстро и основательно меняется. Стоит вынести на веранду плетеное кресло, глядишь — его уже передвинули. Уму непостижимо...

Ах, как привольно и легко здесь дышится! Много лет я не ощущал такого беспредельного покоя. Должно быть, хорошо здесь работается ученому. Просто наслаждение сидеть в этом удобном кресле вдали от недовольных взглядов и в одиночестве любоваться озером и горными вершинами Хира. Если захотелось горячего чая, достаточно хлопнуть в ладоши и позвать служанку. Сам не позовешь — никто не нарушит твоего покоя до самого вечера. Не слышно радио, не вопит проигрыватель, никто не брэнчит на пианино. Не слышно пронзительного голоса Харуко, не шумят дерзкие внуки, ни на кого не прикрикивает Хироюки, ставший за последние годы просто несносным.

Как, должно быть, все они там всполошились! Вот уже более пяти часов как я ушел из дома. В последнее время в одиночку я не выходил на улицу, и можно представить, как

* Хотэй — бог изобилия; изображается с большим животом и мешком за спиной.

Харуко растерялась и бегаёт по соседям, вереща своим пронзительным голосом: дедушка пропал! Хироюки тоже передали, но всей вероятности, о моем исчезновении, и он, примчавшись с работы и не решаясь сообщить о случившемся родственникам или в полицию, все время кому-то названивает, но нигде не может обнаружить моих следов и сердито мерит шагами комнату. Не исключено, что в конце концов он позвонил своему младшему брату и сестре.

Садамицу, наверно, заехал по дороге из университета, уселся в мое кресло в моем кабинете и пьет чай, всем своим видом выражая недовольство: мол, с какой стати его по таким пустякам оторвали от дел! Ацуко тоже, видимо, приехала из Китано. Если бы не мое неожиданное исчезновение, вряд ли Садамицу и Ацуко пожаловали бы к нам. А ведь при всей их занятости не грех бы изредка навестить родного отца и принести хоть какой-нибудь гостинец в знак внимания. Куда там! Не напомни о своем существовании, они и по году не будут заглядывать. Почтения к отцу ни на грош!

Поволнуйтесь до завтра — это вам только на пользу! А завтра днем я вернусь. Свободен же я в свои семьдесят восемь лет поступать как мне заблагорассудится. Наконец, существует у нас свобода передвижения, та самая «свобода», которая теперь вошла в моду. И ничего нет плохого в том, что я вышел из дома, никого не предупредив. В молодости я ездил куда хотел, и Миса, жена моя, никогда не требовала от меня отчета. Бывало, не возвращался домой по нескольку дней, но мне и в голову не приходило за это отчитываться. Не то что Хироюки — по всякому пустяку советуется со своей половиной. Настоящий подкаблучник. Перед Харуко стелется, ребенка балует. Смотреть противно.

И все же завтра не избежать скандала. «Больше нет никаких сил ухаживать за вами», — начнет вопить Харуко так громко, чтобы слышали Садамицу и Ацуко. Потом, наверно, упадет на циновки и будет лить слезы. Да и Хироюки, Садамицу и Ацуко внесут свою лепту, хотя бы в отместку за то, что заставил их поволноваться. А я ни слова не скажу им в ответ. Просто уйду в свой кабинет. Хироюки увяжется и начнет бубнить:

«Допустимо ли такое в ваши годы? Постыдились бы собственных детей! Разве мы в чем-то провинились перед вами?» Пусть говорит что хочет, а я буду молчать, глядя на фотографию моего учителя Швальбе. А когда все успокоится, открою свою тетрадь и продолжу работу над девятой главой «Артерией системы дер японер»*. «Im Jahre 1896 bin ich in der Anatomie und Anthropologic mit einer neuen Anschauung hervorgetreten, indem ich behauptete...»**

Моим родственникам не понять, к какой работе я приступил. Разве смогут они оценить эти первые строки труда, который принесет неувядаемую славу ученому Сунтаро Миикэ.

Хироюки... Тот даже не сумеет их прочитать. В школе он не один год изучал немецкий язык, да только все напрасно. Садамицу... Он, пожалуй, прочтет: все же занимается немецкой литературой и даже переводит Гёте. Но может, он, кроме Гёте, ничего не читал. Да и великий Гёте в его интерпретации выглядит придиричивым и капризным — совсем не таким, каков он был на самом деле. Садамицу только и думает о своем Гёте, а чем занимается родной отец — ему наплевать! Ему и невдомек, насколько ценно анатомическое исследование артериальной системы японцев, какое историческое значение приобретает моя скромная, но важная для будущего работа в области антропологии. Что уж говорить о Хироюки! Да и не только о нем. Для него, как и для Харуко, Ацуко и мужа Ацуко — Такацу, бумажка в сто иен дороже, чем эти вводные строки моего исследования.

Наверно, Хироюки сообщил о моем исчезновении университетским коллегам Ёкотани и Сугияме. Возможно, они подумали, что я покончил жизнь самоубийством — то ли по политическим мотивам, то ли из-за неудач в научных исследованиях. Только Кэйсукэ, будь он жив, мог бы, наверно, понять мое настроение... Мой старший сын Кэйсукэ... Он рос в бедности, когда у меня еще не было собственного дома. Может, поэ-

* «Артериальная система японцев» (нем.).

** «В 1896 году я выдвинул новую концепцию в области анатомии и антропологии. Она заключалась в том, что...» (нем.).

тому он был так деликатен, так внимателен и чуток к людям — качество, которого абсолютно лишены Хироюки и Сада-мицу.

Признаться, из своих детей я больше всех недолюбливал Кэйсукэ. Да и Кэйсукэ платил мне тем же. Он не ласкался, не взбирался ко мне на колени. Может, потому, что в детстве рос без отца: я надолго уехал в Германию. И все же если бы Кэйсукэ был жив, он, мне кажется, смог бы меня понять: глядел бы на меня своими холодными глазами и молча ждал, пока я успокоюсь.

Интересно, как может людям прийти в голову, что я способен покончить с собой. Ведь мне предстоит завершить работу по артериальной системе японцев, а я лишь приступил к ней, работа трудная, без надежды на скорое признание. Надо жить до ста лет, чтобы ее завершить. Если я умру, вряд ли кто решится продолжить ее. Вот почему я должен жить. Теперь только я один понимаю, сколь ценна моя жизнь для науки. Еще в 1909 году на Антропологическом конгрессе в Берлине профессор Крачи во всеуслышание заявил: «По-видимому, я могу значительно выше, чем сам господин Миикэ, оценить его вклад в науку». На моей памяти это было единственное за всю жизнь признание моих заслуг. Но теперь профессор Крачи ушел в мир иной. Умерли Сакура и Игути. Пожалуй, эти двое тоже понимали ценность моей работы. Они и сами были прославленными учеными, но их имена давно уже перестали упоминаться в научных кругах, и, пожалуй, только я могу по достоинству оценить их научную деятельность. Но хватит об этом.

Почему все же меня неожиданно потянуло в Катаду? Вдруг неудержимо захотелось очутиться в той самой северо-западной комнате «Отеля призрачных вершин» и молча любоваться озером, глядеть на горную цепь Хира. Не исключено, что меня натолкнули на эту мысль полученные мною деньги, но, по правде говоря, причина вовсе не в этом. Во все не в этом.

Вчера я потребовал у Хироюки двенадцать тысяч иен, вырученных от продажи бумаги, которую я в свое время приобрел для публикации своих трудов. Хироюки рассердился. Наверно,

он возомнил, будто имеет право потратить эти деньги на семью, поскольку, видите ли, он взял на себя все заботы обо мне. Но я так не считаю. Когда-то я приобрел бумагу с величайшим трудом и всю войну хранил ее в подвале университета. Это не та бумага, на которой печатают всякие романчики. Она была предназначена для публикации полувекových исследований великого ученого Сунтаро Миикэ, чтобы сделать их достоянием крупнейших библиотек и университетов мира. Вот почему я дорожил ею больше всего на свете. Нет, это не обычная бумага. На ней классическим немецким языком должно быть изложено то единственное, что меня волновало. С давних пор я жил в бедности, но в душе никогда не считал себя бедняком. Правда, я брал деньги в долг, но не отказывал себе ни в одежде, ни в еде. А уж сакэ выпивал столько, сколько хотелось. Да и способен ли человек, считающий себя бедняком, заниматься наукой? Не ученому это не дано понять.

Дома я сам проговорился насчет продажи бумаги. Промолчи я, не стали бы Хироюки и Харуко зариться на эти деньги. «Это мои деньги, и я не разрешаю брать из них ни одной сэны»,— сказал я тогда, но не из жадности, а потому, что на самом деле так считал.

— Отец, не кажется ли вам, что вы поступаете несправедливо?— обиделся Хироюки.

Я сразу не нашелся, что ответить, настолько слова эти меня возмутили. Скажи он: «Отец, жизнь сейчас нелегкая, не дадите ли вы нам немного взаймы? Мне неудобно обращаться к вам с такой просьбой, но вы нас очень выручите». Попроси он так, со всей положенной в данном случае скромностью, я, пожалуй, выделил бы ему, ну, не половину суммы, но по крайней мере четверть. Но он этого не сделал. Мало того! Из столовой выскочила Харуко и с нескрываемой злостью сказала:

— Да отдай ты ему все деньги до последней сэны. Он прав: они принадлежат только ему.

— Верно! Это мои деньги, и я не позволю тратить их как попало на сладости для ваших несносных детей,— ответил я.

Хироюки недовольно щелкнул языком. Хоть он мой сын, а ведет себя неподобающе. Будь жива Миса, наверно, все было бы

по-иному. Правда, слишком уж она была добрая. Последние годы даже стала спрашивать у детей, как их здоровье. Уж это никуда не годится! Но даже она навряд ли приняла бы их сторону, если бы речь зашла об этих деньгах. А о том, что произошло сегодня утром, стыдно даже вспомнить. Когда я, сидя в своем кабинете, собирался приступить к работе, без стука вошла Харуко и положила на стол пачку купюр — двенадцать тысяч иен. Это бы ничего, но она еще и сказала:

— Папаша, похоже, вы начинаете интересоваться деньгами!

Меня деньги несколько не привлекают. Вся жизнь провел в бедности, и ничто, кроме науки, меня не интересовало. Если бы я жаждал денег, то начал бы заниматься частной практикой и стал бы теперь богачом. Как только Харуко посмела мне такое сказать! Но я не смог бы чувствовать себя спокойно, не смог бы нормально продолжать свою работу, если бы, живя в семье сына-чиновника, пробавляющегося жалким месячным заработком, не припрятывал кое-что на черный день. Харуко и Хироюки то и дело выражают свое недовольство: мол, я из своей пенсии не выдаю им ни гроша на расходы. Но если отдавать им пенсию, откуда я возьму деньги, чтобы платить студентам, которых нанимаю для черновой работы? Да и вообще, пристало ли детям пользоваться отцовской пенсией?

Я ничего не ответил Харуко. Решил, что не стоит пачкаться. Лишь дрожащими пальцами при ней пересчитал деньги. В пачке было ровно сто двадцать бумажек по сто иен.

— Хорошо, а теперь уходи,— сказал я.

Некоторое время я молча сидел за столом, потом вскипятил воду и выпил пустой чай. Я потихоньку наклонял старинную чашку (в день моего семидесятилетия незнакомый студент принес ее в мое отсутствие и оставил у дверей, мне понравились и этот студент, и эта чашка) и любовался, как крепкий зеленый чай медленно стекал по стенке, оставляя на ней мельчайшие пузырьки.

Я поглядел во двор и увидел человека в поношенном европейском костюме, направлявшегося от ворот к дверям нашего дома. Я сразу узнал его: приказчик из лавки Омори. Он уже не в первый раз приходил сюда, и Харуко сбывала ему оби и кимоно.

Конечно, она вправе распоряжаться своими кимоно, поскольку привезла их с собой, когда выходила замуж за Хироюки. И все же не настолько они нуждаются, чтобы продавать собственные вещи. А если в самом деле не хватает денег, то не проще ли отказаться от уроков музыки для Хидэити. Какой смысл тратить такие деньги на бездарного двенадцатилетнего мальчишку. К тому же ежедневное брэнчанье на пианино раздражает и не дает мне работать. А восьмилетняя Ёсико? На кой черт ее обучают живописи? Бессмысленная трата денег. Говорят, будто это нужно для нравственного воспитания. Чушь! Разве можно таким путем воспитать нравственность? Да и вообще, о каком нравственном воспитании может идти речь, если детям не внушать главного — уважения к науке!

Харуко и Хироюки бездумно транжируют деньги и на многое другое. Недавно Харуко рассказала, как в районе Сидзё почистила туфли за двадцать иен. Какая нелепость! А Хироюки не только не отругал ее, а, напротив, похвастался, что в Кёгоку с него взяли тридцать иен, но уж почистили ботинки на славу. Ну что можно сказать о здоровых супругах — руки-ноги на месте, которые, не утруждая себя, пользуются услугами чистильщика и тратят на это пятьдесят иен! А еще жалуются на стесненные обстоятельства и продают кимоно, чтобы свести концы с концами. Можно еще понять, когда не хватает на жизнь, если муж пропивает большую часть жалованья. Мне это понятно, потому что я и сам частенько выпивал. День за днем: научная работа и сакэ, анатомичка и кабак! Тоже транжирил деньги, но в этом был свой смысл. Я не экономил на спиртном, чтобы почистить ботинки. Напротив, готов был чистить ботинки другим, лишь бы хватало на выпивку. Ибо сакэ было моей потребностью — такой же, как наука.

Когда постучал в дверь приказчик из лавки Омори, я переоделся в европейский костюм, приколот к жилету любимую медаль Красного Креста, которой меня наградило польское правительство, положил в портфель начатую рукопись девятой главы и словарь немецкого языка, сунул двенадцать тысяч иен в карман пиджака, потом, подумав, переложил их на всякий случай во внутренний карман, спустился на веранду, незамет-

но пересек двор и через заднюю калитку вышел на улицу.

Некоторое время я не торопясь, будто прогуливаясь, шел по улице, потом остановил такси и спросил у шофера, сколько до Катады. Я думал, он скажет иен двести, но шофер — молодой парень лет двадцати — заломил такую цену, что у меня затряслись руки. «Две тысячи иен?» — переспросил я. Шофер окинул меня презрительным взглядом и собрался было ехать дальше. Но я сказал: «Хорошо, едем!» Шофер, не вставая со своего места, открыл изнутри дверцу. В былые времена водители такси выскакивали из машины и с поклоном отворяли дверцу пассажиру...

Машину страшно трясло. Я приказал таксисту ехать помедленнее, скрестил на груди руки, ссутулился и закрыл глаза. Когда Киото остался позади и мы выехали на асфальтированное шоссе Киото — Оцу, тряска уменьшилась и мне стало легче. Мы миновали Оцу и поехали вдоль озера. Наконец показались сказочно красивые вершины. «Вот и Хира», — обрадовался я.

Беря такси, я бессознательно назвал шоферу Катаду. И не ошибся. Мне в самом деле давно хотелось полюбоваться на озеро Бива и горную цепь Хира, выйти на веранду той самой северо-западной комнаты в «Отеле призрачных вершин» и бесконечно глядеть на водную гладь и на горы, возвышающиеся на противоположном берегу озера.

В двадцать пять лет мне впервые удалось увидеть горы Хира. Но о существовании Хира я узнал еще раньше, когда мне на глаза попалась фотография в одном модном иллюстрированном журнале. В ту пору я учился в средней школе и снимал комнату в Хонго. Однажды я взял у хозяйской дочери журнал, открыл первую страницу и замер: передо мной было фото, отпечатанное в модных тогда лиловых тонах. Под ним подпись: «Азалии в Хира».

Я и сейчас помню эту фотографию во всех подробностях: вершины горной цепи Хира отражаются в зеркальной глади озера, а крутые склоны с кое-где выступающими скалами сплошь покрыты кустами цветущих азалий.

Я замороженно глядел на снимок и думал: наступит день, и я обязательно сяду на маленький парходик, изображенный в овале на этой странице, поплыву по озеру, любясь вершинами Хира, а потом непременно заберусь на одну из них. И такое во мне всколыхнулось желание увидеть эти горы, что я твердо сказал себе: этот день обязательно наступит.

И я подумал еще, что тот день будет для меня печальным. Вряд ли кто-нибудь смог бы объяснить охватившее меня настроение. Да мне и самому трудно было его понять. Пожалуй, его можно было передать словом «одиночество» или, может быть, еще — «разочарование». Да, да! Одиночество, разочарование. Я не очень люблю столь возвышенные слова, но они, пожалуй, наиболее точно отражали мое настроение. И я подумал: в этот печальный для меня день я поднимусь на вершину Хира и прилягу среди благоухающих белоснежных азалий. Этот день наступит, непременно наступит!

Вот когда я впервые узнал о существовании Хира и впервые ощутил страстное желание побывать там.

Прошло несколько лет, и мне довелось увидеть горную цепь Хира уже не на фотографии. То было в конце тысяча восемьсот девяносто шестого года, когда я после окончания университета был назначен преподавателем в медицинское училище в Окаяме. В ту пору меня неотступно преследовала мысль о самоубийстве. Видимо, у всех молодых людей бывает период, когда они начинают испытывать разочарование в жизни. Вот и Кэйсукэ поэтому столь глупо ушел из жизни в двадцать пять лет. Если бы ему тогда удалось перебороть свое настроение, он прекрасно прожил бы еще не один десяток лет. Как он мог! Всегда такой нерешительный... Видно, дух смерти, которым был одержим Кэйсукэ, оказался сильнее того, что владел мною. Ах, если бы Кэйсукэ был жив... Какой глупец! Стоит вспомнить о случившемся, как меня начинает буквально трясти от злости.

Наверно, дух смерти, который овладел мною в мои двадцать пять лет, был более примитивен. Он просто подталкивал меня к смерти. В ту пору я еще не проникся величием задачи антропологии, изучению которой посвятил себя впоследствии, и моя душа буквально разрывалась от противоречий. Как часто

случается с учеными-естественниками, в моей душе религия противостояла философии. Спустя несколько лет после того, как меня охватило стремление к самоубийству, знаменитый Мисао Фудзимура решил бросить науку и искать истину в буддистской религии. Да, многие в те времена увлекались религией и философией, и, как правило, все они хоть раз испытали желание уйти из жизни. Конец эры Мэйдзи... То было удивительное время, когда люди принимали близко к сердцу непознаваемость абсолютной истины; странное время, когда молодежь с увлечением философствовала на тему о жизни и смерти.

Во время зимних каникул в медицинском училище в Окаяме я запасся буддистскими священными книгами и направился в храм Тэнрюдзи в Сага. Там с разрешения старого настоятеля я предался медитациям. Ночи напролет я молился то в галерее главного здания храма, то позади него, сидя на скале у пруда, затянутого уже тонким льдом. Так продолжалось до восьмого декабря — праздника просветления Будды. Когда он окончился, я едва держался на ногах. Теперь, вспоминая о том моем состоянии, я должен признаться, что не ощутил никакого экстаза. Напротив, скудная пища, постоянная усталость и недосыпание привели мой организм на грань крайнего нервного истощения.

После ранней проповеди, которой завершился праздник просветления Будды, я сразу же покинул храм Тэнрюдзи и направился в Оцу. Как сейчас помню, было часов около восьми, сосны у храма припорошил снег. Даже для Сага утро выдалось на редкость холодное. Особенно мерзли уши и кончик носа. Вся моя одежда состояла из легкого хлопчатобумажного кимоно и гэта на босу ногу. Выйдя из Сага, я оставил позади Китано и через Ямасину добрался до Оцу — без отдыха проделал пешком весь тот путь, который сегодня проехал на машине. В воздухе уже кружились снежинки, когда я миновал харчевню «Канэё», славившуюся жареными угрями. Я вдохнул доносившийся из харчевни аромат, мгновенно ощутил зверский голод и лишь невероятным усилием воли заставил себя идти дальше.

Почему я тогда отправился в Оцу? Теперь уж не припомню. Навряд ли следует искать объяснение в том, что я вспомнил

фотографию в журнале и меня потянуло взглянуть на Хира. Скорее всего, я искал подходящее место для самоубийства, и меня инстинктивно потянуло к озеру Бива. А может, я, словно лунатик, шел, не разбирая пути, набрел на озеро Бива, взглянул на его гладь и лишь тогда впервые подумал о смерти. До чего же холодным был тот день! Меня и теперь, при одном воспоминании, пробирает дрожь. Миновав Оцу, я вышел к берегу и двинулся вдоль озера на запад. Я шел, и мысль о самоубийстве ни на минуту не покидала меня. Справа простиралась холодная, неподвижная гладь озера. Временами из прибрежного камыша с шумом вылетали птицы. Наконец, слева за краем озера показались покрытые снегом горные вершины. Они отличались какой-то дикой, нездешней красотой, и мне, привыкшему в последнее время к плавным линиям горных склонов в Сага, поросших лесами, эти круто устремленные в небо вершины казались явившимися из иного мира. У бродячего торговца, который встретился мне на пути, я узнал, что это и есть горы Хира. Временами я останавливался и любовался ими. И вместе со мной глядел на них не выпускавший меня из своих когтей дух смерти. С первой же минуты меня покорила неземная красота этих горных вершин.

Когда я добрался до буддистского храма Укимидо в Катаде, который, казалось, плыл по водам озера Бива, пошел настоящий снег, и все вокруг заволокла белая пелена. Озябшими пальцами я развязал свой дорожный мешок и вынул из него кошелек. В нем оказалась единственная бумажка в пять иен. Зажав в кулак бумажку, я вышел из храма и направился к ближайшему дому. Это и был «Отель призрачных вершин».

Я вошел внутрь, показал пять иен гревшемуся у печурки пожилому хозяину и спросил, смогу ли за эти деньги переночевать в его отеле, добавив, что расплачусь за постой завтра. Хозяин вначале стал подозрительно меня разглядывать, потом, видимо, что-то про себя решил и с неожиданной вежливостью пригласил меня в отель. Молоденькая служанка принесла таз с горячей водой, я подоткнул полы кимоно и с наслаждением погрузил в воду оковевшие ноги. Потом служанка проводила меня в эту комнату — лучшую в отеле.

Уже совсем стемнело, когда я покончил с принесенным мне ужином, сел на циновку, прислонившись спиной к стенной нише, и подумал, что лучшего места для самоубийства, чем крутой берег у храма Укимидо, мне не найти. Меня беспокоило лишь одно обстоятельство: сможет ли мое тело погрузиться в воду столь же быстро, как брошенный с берега камень?.. Много раз в тот вечер рисовал я в своем воображении, как лежит мой труп на дне озера.

На землю опустилась ночь — такая же тихая, как ночи в храме Тэнрюдзи, где я предавался медитациям. Несколько часов я провел в раздумье, потом почувствовал сильную усталость и, хотя в углу комнаты была приготовлена постель, лег прямо на циновки и, подложив под голову руку, задремал.

Меня разбудил душераздирающий крик. Наверно, кричала ночная птица. Я открыл глаза и прислушался. Вокруг царил тишина. Только я стал засыпать, как снова послышался крик. Мне показалось, что он доносится с галереи, расположенной под моей комнатой. Я встал, зажег фонарик, вышел на веранду и слегка отодвинул перегородку, отделявшую ее от озера. Снаружи царил непроглядная тьма. Свет от фонаря пробил в ней узкую дорожку, которая достигала края дома, и в этой световой дорожке кружились мелкие снежинки. Я перегнулся через перила веранды и посмотрел вниз. В тот же момент раздался крик еще более громкий, и из-под веранды, вплотную примыкавшей к берегу, метнулась тень, послышалось громкое хлопанье крыльев, и большая птица, чуть не задев меня, исчезла во тьме. Я не успел ее разглядеть, но мощные взмахи ее крыльев словно ударили по моему сердцу и позвали его за собой в крутящуюся снежную мглу. Я отшатнулся и долго еще стоял, не в силах шевельнуться. И такую мощь, такую жажду жизни ощутил я в этой ночной птице, что от меня в тот же миг отлетел дух смерти.

На следующий день, невзирая на метель, я покинул эти места и пешком отправился в Киото, так и не решившись расстаться с жизнью.

Во второй раз я побывал в Катаде осенью тысяча девятьсот двадцать шестого года. Мой приезд был связан с трагическим

случаем, постигшим моего сына Кэйсукэ. В тот год меня назначили руководителем кафедры в университете К. Значит, я приехал в Катаду, когда мне исполнилось пятьдесят пять. Последующие пять лет вплоть до шестидесяти, когда я вышел в отставку по возрасту, были для меня наиболее тяжелыми: самоубийство Кэйсукэ, кончина жены Мисы, женитьба Хироюки и замужество Ацуко — честно говоря, ни то, ни другое не доставило мне радости, наконец, уход к левакам Садамицу... Да и моя работа не приносила мне тогда удовлетворения. Я пребывал в постоянном раздражении, поскольку начальство всячески помыкало мною и я был лишен возможности продолжать свою собственную научную работу.

Поступок Кэйсукэ явился для меня полнейшей неожиданностью. Однажды нас вызвали в университет, где учился Кэйсукэ. Пошла Миса. Ей сообщили, что сын исключен из университета за связь с женщиной. Когда Миса рассказала мне об этом, я не поверил своим ушам. Кэйсукэ с детства отличался безвольным характером, учился ниже среднего, поэтому его и пристроили во второразрядный частный университет. В то же время он, в отличие от большинства детей, вел себя примерно, был честен и порядочен. Так, по крайней мере, думал я. И вот этот мальчишка обрюхатил восемнадцатилетнюю служанку — должно быть, публичную девку. Ума не приложу, как он мог совершить такой безрассудный поступок!

Но случилось самое худшее, то, чего я больше всего опасался. Просматривая вечерний выпуск газеты, я обнаружил статью под заголовком «Амурные похождения студента» или что-то в этом роде, в которой подробно излагалась любовная интрижка Кэйсукэ. Мало того. В статье был прозрачный намек на то, что отец Кэйсукэ — правда, имя стояло другое, но всякому было понятно, о ком идет речь,— занимает ответственный пост в некоем университете и известен в педагогических кругах. По моему авторитету был нанесен сокрушительный удар. С этим я мог бы еще примириться — никогда не считал себя педагогом, а всегда — ученым. Но мог ли я как отец простить Кэйсукэ то, в какое ужасное положение он поставил меня своим постыдным поведением.

В тот вечер я заперся у себя в кабинете и никуда не выходил. Кэйсукэ вернулся поздно. О его приходе я узнал по ласковому голосу Мисы. Я прислушался и по звуку передвигаемой посуды понял, что жена потчует его ужином.

Я вышел из кабинета, прошел по коридору к столовой и раздвинул фусума*. Кэйсукэ как ни в чем не бывало сидел, скрестив ноги, на циновке в расстегнутой студенческой куртке и ел рис. Меня взбесил его самодовольный вид, и я закричал:

— Вон! Таким негодьям не место в моем доме!

Кэйсукэ побледнел и виновато опустил глаза.

— Вон из моего дома!— повторил я.

Кэйсукэ молча встал с циновки, вышел в коридор и поднялся на второй этаж в свою комнату.

Я не верил, что этот безвольный мальчишка на самом деле уйдет из дома. Но когда спустя некоторое время Миса зашла в его комнату, Кэйсукэ там уже не было.

На следующий день у Мисы начались боли в сердце и она почти не притронулась к еде. Меня же отсутствие Кэйсукэ нисколько не тревожило: я был уверен, что этот лишенный собственного достоинства бывший студент обязательно вернется с повинной.

Каким-то путем Миса дозналась, что служанка, которую обрюхатил Кэйсукэ, не по годам опытная женщина и еще до Кэйсукэ от кого-то заимела ребенка. Кэйсукэ же находится у нее под каблуком. Мне было все равно, кто из них кого обманул. Важен был плачевный результат.

Как я и предполагал, Кэйсукэ долго выдержать не смог: на третий день после его ухода раздался телефонный звонок. Я случайно оказался в соседней комнате, где искал старый медицинский журнал. К телефону подошел Хироюки. Последовавший затем приглушенный разговор показался мне странным. Когда я вышел из комнаты, Хироюки о чем-то шептался с Мисой. «Звонил Кэйсукэ?»— спросил я. Хироюки вначале замялся, потом утвердительно кивнул головой. Видимо, он и Миса хотели утаить от меня правду. Но я все же заставил Хироюки

* Фусума — раздвижные перегородки в японском доме.

признаться, и он рассказал, что Кэйсукэ с этой женщиной находятся в Сакамото, поселились в отеле на берегу озера, и Кэйсукэ просил привезти ему денег.

На следующий день, несмотря на уговоры Мисы, я отправился на машине в Сакамото. Войдя в отель, я попросил швейцара вызвать Кэйсукэ. Вскоре послышалось шарканье домашних туфель, и по лестнице стала спускаться коротко стриженная молодая женщина в кимоно, подпоясанном мужским красным поясом. Она уже достигла середины лестницы, когда поглядела вниз и наши взгляды встретились. Тут она мгновенно повернулась и с проворностью белки помчалась наверх. Трудно было поверить, что она беременна.

Через несколько минут появился Кэйсукэ. Мы сели в холле по разные стороны стола. Я вынул из кармана пачку денег, протянул их через стол и сказал:

— Сегодня же возвращайся домой. Будешь сидеть взаперти. С этой женщиной ты больше встречаться не должен. Миса с ней поводится и все уладит.

— Но,— попытался вставить слово Кэйсукэ.

— Ты немедленно должен вернуться домой,— повторил я.

— Разрешите мне подумать до завтра,— попросил сын.

Меня буквально затрясло от негодования, но я сдержался. На нас стали обращать внимание какие-то нарядные мужчины и женщины, суетившиеся в холле: видимо, в отеле шли приготовления к свадьбе.

— Выбирай: либо эта ничтожная женщина, либо твой отец. Завтра ты должен дать ответ.

Я потребовал, чтобы свой ответ он сообщил мне в «Отель призрачных вершин» в Катаде.

Кэйсукэ поблагодарил и поднялся к себе на второй этаж. Я попросил служащего позвонить в «Отель призрачных вершин» и заказать комнату. Так я вновь, спустя тридцать лет, оказался здесь. Происшествие с Кэйсукэ утомило меня не только душевно, но и физически, и я решил хорошенько отдохнуть — тем более что следующий день падал на воскресенье.

Хозяин отеля, уже очень состарившийся, специально зашел в мою комнату поздороваться. Пока мы с ним беседовали, дав-

нишние воспоминания нахлынули на меня. Потом я позвонил домой и коротко сообщил жене о своей встрече с Кэйсукэ. Впервые за много лет я провел вечер в одиночестве — ничего не писал, не читал, лишь наслаждался тишиной. Дикие утки еще не прилетали, и мне не удалось полакомиться жареной утиной. Зато я с наслаждением поел свежей озерной рыбы и в ту ночь крепко уснул.

На следующий день часов около десяти утра, когда я заканчивал поздний завтрак, из Киото позвонила Миса и убитым голосом сказала:

— Сейчас сообщили из отеля, что Кэйсукэ и его женщина покончили жизнь самоубийством — бросились в озеро Бива. Немедленно отправляйтесь туда, мы тоже сейчас выезжаем.

Я буквально остолбенел. Что за дурацкую штуку он выкинул, подумал я. Значит, Кэйсукэ от меня отказался и выбрал женщину. Ну и пусть! Но зачем он дал мне это понять столь недопустимым способом?

Я решил оставаться на месте и ждать.

Около трех часов появился Хироюки. Я сидел в плетеном кресле на веранде и, когда повернулся к Хироюки, будто споткнулся о его пристальный взгляд.

— Отец, неужели вам нисколько не жаль Кэйсукэ? — удивленно спросил он.

— С какой стати жалеть человека, совершившего столь глупый поступок?

— Труп Кэйсукэ до сих пор не могут найти. Поисками занято очень много людей. Хотя бы из уважения к ним вам следовало приехать туда.

Хироюки резко повернулся и пошел к дверям. Неужели он специально приехал сюда, чтобы мне нагрубить?!

Спустя час появились Миса, Ацуко и ее жених Такацу. Войдя в комнату, Миса хотела было приблизиться ко мне, потом, наверно, раздумала, пошла в угол, упала на циновки и долго так лежала не шевелясь. Наверно, не хотела, чтобы я видел ее слезы.

— Хорошо бы до вечера нашли, — сказал Такацу, имея, наверно, в виду трупы Кэйсукэ и его женщины.

Мне было неприятно присутствие Такацу в такой момент. Я вообще с самого начала был против их помолвки с Ацуко. Отец Такацу — один из крупнейших предпринимателей в Осаке — неграмотный выскочка, который ученого человека ни во что не ставил. Меня тошнило от его наглости. Уже при первом знакомстве он с улыбочкой заявил, что может без труда покрыть расходы по изданию моих трудов. Миса и дети побывали в его доме и были сражены наповал богатством обстановки. Мне противно было слушать, как они, перебивая друг друга, с восхищением описывали дом и его внутреннее убранство, рассказывали, что, кроме того, у отца Такацу есть загородные виллы в Ясэ и Такарадзука.

Сам Такацу три года учился во Франции, а о Лувре ничего толком не мог рассказать. Ничему он не научился, даже местного вина не попил. Просто болтался по музеям, хотя сам далек от искусства. В общем, бесцельно потратил время. Вел себя нахально: мы еще и словом не обмолвились, что отдадим за него дочь, а он что ни суббота приходил в гости — и дождь ему нипочем. Это выше моего понимания. Когда я сказал, что не согласен на замужество дочери, первой ударилась в слезы сама Ацуко. Ее поведение меня крайне раздосадовало. Мало того, оказалось, что и Миса, и все остальные домочадцы были за то, чтобы Ацуко вышла замуж за Такацу. Видимо, на всех, кроме меня, Такацу произвел неотразимое впечатление. Поскольку ни Кэйсукэ, ни Хироюки не проявили интереса к научной деятельности — о Садамицу и говорить нечего,— я рассчитывал, что хотя бы Ацуко сможет посвятить свою жизнь науке, и предполагал выдать ее замуж за ученого. Но и эти мои надежды рассыпались в прах. И меня раздражало, когда Такацу еще до бракосочетания сажали в нашем доме на почетное место.

— Пусть мать останется здесь, а вы с Ацуко отправляйтесь обратно в тот отель,— сказал я.

Они сразу же заторопились, заказали машину и уехали. Помчались так, будто их ожидало веселое развлечение.

Когда Такацу и Ацуко ушли, в комнате воцарилась тишина. Мне хотелось успокоить Мису, сказать ей какие-то ласковые слова, но вместо этого я стал ее ругать:

— Именно ты виновата в случившемся. Слишком нянчилась с Кэйсукэ.

Миса по-прежнему лежала на циновке — даже головы не подняла.

— Из-за тебя наши дети — Хироюки и Ацуко — растут никчемными бездельниками. Больше я этого не потерплю,— добавил я.

Миса поднялась с циновки, шатаясь, вышла на веранду, прислонилась к перилам и, сжимая ладонями виски, повернулась в мою сторону. Не произнося ни слова, она поглядела мне в глаза. Не припомню, чтобы до или после у нее был такой взгляд! Потом Миса бессильно опустила на пол и сказала:

— Половину вины вам бы следовало принять на себя. Самито вы что сделали для детей?

Так заговорила эта женщина, которая в жизни рта не раскрывала. Наверно, рехнулась, решил я. А Миса продолжала:

— Когда дети были маленькими, вы уехали в Германию учиться, думали, на три года, а оказалось на целых восемь. Последние пять лет ни министерство просвещения, ни мы не получили от вас ни единой весточки. Вы и представления не имеете, что нам пришлось пережить за эти годы...

Миса сказала правду. Я сэкономил деньги, отпущенные мне министерством на три года, и растянул их на целых восемь лет. Я снял самую дешевую комнату, сидел на сухарях и грыз науку, стремясь постичь ее сверкающие вершины. Поступи я иначе, не появилось бы научного труда, который я пишу сегодня.

А Миса продолжала жаловаться:

— Наука, наука! Вы посвящали ей все воскресенья и праздники. Если выдавалась свободная минута, вы проводили время в анатомичке среди трупов. Возвращаясь домой, говорили, что вас преследует трупный запах, и пили сакэ. Хоть бы одно веселое, шутивное слово сказали вы, напившись. Куда там! Вы пили и писали, пили и писали по-немецки. А что сделали вы для детей? Хоть раз поинтересовались их успехами в учебе? Или, может быть, сводили в зоологический сад? Вы принесли в жертву своей науке и меня, и наших детей.

Эти слова в устах Мисы были для меня полной неожидан-

ностью. Неужели это сказала женщина, которая с удивительной покорностью, не щадя себя, всю жизнь обслуживала меня, облегчала мои занятия научной работой?

Мне надоело выслушивать ее глупые жалобы.

— Замолчи! Разве я сам не принес себя в жертву?!— сказал я и, отвернувшись от жены, стал снова смотреть на озерную гладь. Потом я перевел взгляд на горную цепь Хира.

— Поеду в тот отель. Не знаю, что вы вчера наговорили Кэйсукэ, но боюсь, он ушел из жизни, ненавидя вас,— холодно сказала Миса. Глаза ее были сухи, наверно, она уже выплакала все слезы. Она накинула на плечи платок, быстро собрала свои вещи и, не оборачиваясь, пошла к двери. Казалось, будто она уходит навсегда.

Невыразимая грусть охватила меня. «Хорошо»,— прошептал я, поднимаясь. Хотя не мог понять, что во всем этом было хорошего. И снова опустился в кресло.

Я позвал хозяина и попросил принести мне бумагу — решил написать письмо Кайгэцу Танио, о котором не вспоминал уже много лет. Танио не был ни анатомом, ни антропологом. Знакомство наше состоялось в Голландии. До этого я вел научную работу в Страсбурге под руководством профессора Швальбе. Потом около года находился в Голландии в Лейденском музее, где занимался обмером черепов филиппинцев. Это было одним из моих побочных исследований, связанных с основной работой. Тогда-то я и познакомился с Танио в кабачке, где обычно собирались приезжавшие из Японии ученые и хозяйкой которого была миловидная японка.

Танио чуть старше меня. Он был священником, но в Лейденском музее занимался изучением санскрита. Большой любитель вина, он, как бы ни напивался, всегда говорил только о науке, и это мне импонировало. Мы сразу почувствовали друг к другу симпатию — и как ученые, и как люди, одинаково понимающие ценность науки. Когда я покидал Лейден, Танио сказал, что в знак дружеского расположения он хотел бы подарить мне лучшее, что у него есть, но не знает, чего желаю я. И я сказал Танио: «Когда ты умрешь, разреши мне вскрыть твой труп».

Танио тут же взял два листа бумаги и начертил кистью: «После моей смерти завещаю передать мой труп анатому Сюнтаро Миикэ». Один лист он передал мне, а на втором, который оставил для себя, приписал: «Мои родственники не должны препятствовать исполнению данного завещания».

Я расстался с Танио у входа в Лейденский музей в 1911 году. С тех пор мне ни разу не довелось с ним встретиться. По слухам, спустя несколько лет он вернулся в Японию, стал настоятелем небольшого буддистского храма в Синано, где живет и здравствует по сей день. При желании его точный адрес я мог бы без труда узнать в университете на кафедре буддистской философии.

Я решил написать Танио письмо, чтобы как-то убить время в этот бесконечный день. К тому же чувствовал себя ему обязанным, поскольку его завещание представлялось мне единственным стоящим подарком, какой я когда-нибудь получал.

Я положил перед собой лист бумаги, взял перо и задумался, не зная, с чего начать и как передать то глубокое чувство доверия, какое сегодня я вдруг к нему испытал.

Я отложил перо и поглядел на озеро. В лучах заходящего осеннего солнца оно было непередаваемо прекрасным. Вдали виднелись десятки суденышек, похожих отсюда на упавшие в воду листочки деревьев. Наверно, с этих суденышек люди разыскивают тела Кэйсукэ и этой девушки, подумал я. Почему-то женщина, которую я увидел тогда на лестнице в отеле, стала теперь казаться мне молоденькой девушкой.

Письма Танио я так и не написал. Откинувшись на спинку кресла, я пристально вглядывался с веранды в озерную гладь, будто пытался что-то в себе перебороть. Когда стемнело, я вернулся в комнату, сел за стол и погрузился в размышления. Временами я выходил на веранду и всматривался туда, где до глубокой ночи виднелись похожие на иллюминацию неподвижные огоньки, зажженные на десятках суденышек.

В третий раз я увидел горы Хира в самые мрачные для Японии времена. То был год, когда мое сердце, как и сердца всех остальных, было окутано мраком безнадежности.

В те дни мы со страхом ожидали очередного налета вражеских бомбардировщиков. Газеты и радио настойчиво предлагали нам эвакуироваться, военная ситуация ухудшалась с каждым днем, на японцев неумолимо надвигалось безрадостное завтра. И вот в эти-то дни, весной тысяча девятьсот сорок четвертого года, я приехал в Катаду вместе с Нобуко — младшей сестрой Харуко. Она как раз перешла в пятый класс женской средней школы.

С тех пор как Кэйсукэ покончил с собой, миновало почти двадцать лет. Я тогда поселился вместе со служанкой в Киото. В начале года Хироюки переехал в Канадзаву — его назначили туда в отделение фирмы. Хироюки с радостью принял это назначение. Он давно подумывал об эвакуации в провинцию: у него было четверо детей, старшему исполнилось лишь одиннадцать лет, так что назначение пришлось кстати.

Хироюки и Харуко не решались оставить меня, одинокого старика, в Киото и настойчиво предлагали ехать вместе с ними, но я наотрез отказался. Они решили, что я отказываюсь исключительно из старческого упрямства, но это не так. Превыше всего я дорожил своей научной работой, и никто не смог бы заставить меня покинуть свой кабинет.

Хироюки сказал, что я рискую жизнью ради науки. Для меня же вся ценность жизни заключена в моей работе. Вне университета продолжать ее было невозможно: она требовала регулярного посещения анатомички и университетской библиотеки. Поэтому отъезд из Киото вынудил бы меня остановиться на полпути и труд моей жизни остался бы незавершенным.

Тогда мне стукнуло уже семьдесят три, и я очень торопился. Каждое утро, когда я садился за рабочий стол, перед глазами всплывали мои собственные кровеносные сосуды, и я буквально физически ощущал, насколько они стали хрупкими: сожми их пальцами — и они рассыплются, как сухое печенье. Независимо от того, что шла война, я ежедневно вел борьбу за свою жизнь, и каждый прожитый день был для меня подарком. Я подсчитал, что завершить свой труд смогу лишь к девяносто трем годам — и это при условии, если мне ничто не помешает. Я не питал никаких иллюзий, что смогу довести его до конца.

Поэтому я разделил его на несколько частей и по мере готовности очередной главы сразу же отправлял ее в типографию. Но ситуация складывалась так, что типография в любой момент могла прекратить работу. Мало того, даже готовую книгу в ту пору невозможно было отправить за границу. Правда, я рассчитывал, что при содействии германского консульства в Кобе мне удастся послать ее хотя бы в университеты стран Оси, но положение в Европе, видимо, лишало меня и этой возможности.

Я работал без отдыха, дорожа каждой минутой, и непрерывно подстегивал себя мыслью о том, что когда-нибудь, пусть через десять или даже двадцать лет после моей смерти, научный мир даст справедливую оценку моему труду, верил, что сделанные мною выводы подхватят и разовьют дальше новые поколения ученых.

Меня часто преследовали ночные кошмары, будто мои рукописи сгорают в огне пожара и дым от них высоким столбом поднимается в небо. Всякий раз я просыпался тогда в холодном поту, с мокрым от слез лицом.

В ту пору я старательно обходил стороной небольшую букинистическую лавку близ университета. В углу этой лавки пылилась связка рукописей с географическим описанием Киото. Мне не известны были ни авторы этих рукописей, написанных кистью на хорошей японской бумаге, ни их ценность. И все же было больно видеть, как этот труд — итог работы многих людей — на моей памяти вот уже три года валяется в пыли. Я холодел при одной мысли, что и мою «Артериальную систему японцев» вместе с сотнями таблиц и диаграмм может постигнуть такая же участь. И обходил стороной эту лавку.

Нобуко не оставляла меня в то время. Каждое воскресенье она приезжала ко мне из Асия. Наверно, чтобы сделать приятное старику, она привозила в маленьком платочке ею самой испеченные пирожки или два-три яблока — яблоки в те времена было очень трудно достать — и аккуратно клала гостинцы на край стола.

Я искренне полюбил эту семнадцатилетнюю девушку. Не в пример старшей сестре, которой нравилось пускать пыль в гла-

за, Нобуко была сама скромность и в то же время отличалась открытым, отзывчивым характером. Честно говоря, я не любил ни своих детей, ни внуков. Но как ни странно, к Нобуко, с которой меня не связывали кровные узы родства, я испытывал некую особую родительскую теплоту. Мне казалось, что и Нобуко по-своему любила меня.

Обычно после завтрака я сразу приступал к работе, но в тот день я не пошел в кабинет, а спустился в сад. Утреннее весеннее солнце пробивалось сквозь кустарник и яркими пятнами высвечивало землю, а я бродил по саду, не в силах унять охватившую меня ярость.

Причиной моего столь необычного настроения было набранное крупным шрифтом сообщение в газете о награждении орденами за заслуги в области культуры шестерых ученых — гуманитариев и естественников.

Разглядывая фотографии награжденных, я подумал о том, что тоже был бы не прочь получить такой орден в знак признания правительством и народом моих заслуг. Никогда прежде я не завидовал чужим наградам, но теперь и мне захотелось на своих плечах ощутить бремя славы.

Разве не совершил я научный подвиг более величественный, чем труды, за которые эти шестеро получили награды?! Разве дело моей жизни не стоит ордена? Разве моя научная работа не заслуживает похвалы правительства, уважения народа, поддержки государства? Ах, как желал я в тот момент хоть какого-то признания моих заслуг, малейшего отблеска славы!

Имя Сюнтаро Миикэ должно запечатлеться в памяти людей, надо сделать все, чтобы они поняли истинную ценность моих научных изысканий... Но жизнь моя на исходе, а страна идет к гибели. Тысячи листов моей рукописи отданы на волю капризной, непредсказуемой судьбы. И может быть, труд всей моей жизни, никем не признанный, превратится в кучку пепла, развеется, как дым в поднебесье. «О мой великий учитель Швальбе! Ты слышишь меня?» — неожиданно воскликнул я, и по моим щекам потекли слезы.

Мои горькие раздумья прервал телефонный звонок. Я вошел в дом. Звонили из университета, просили завтра от имени почет-

ных профессоров произнести речь на заседании по случаю награждения профессора К. орденом. Я отказался.

Не прошло и пяти минут, как позвонил один из моих учеников, профессор Ёкотани, и обратился с той же просьбой.

— Я не располагаю временем на то, чтобы писать и произносить поздравительные речи. Мне и своей работы хватает с избытком. Тем более что в мои годы я могу умереть в любой момент — даже завтра, — сказал я.

Ёкотани извинился и повесил трубку.

И сразу же опять зазвонил телефон. Некая газета просила дать интервью по поводу научной деятельности одного из награжденных.

— Я интересуюсь исключительно своей собственной работой, и не приезжайте ко мне понапрасну, — ответил я и повесил трубку. Потом, опасаясь, что опять кто-нибудь позвонит, отключил телефон.

Я снова спустился в сад и стал кружить по нему, ощущая беспричинный гнев, печаль и одиночество. И вдруг из-за кустов появилась Нобуко. В матроске и шароварах, с невинной улыбкой на лице, она была как цветочек (в тот момент я именно так о ней подумал). Она положила на веранду гостинцы, которые привезла из дома, и, повернувшись ко мне, сказала:

— Давайте поедem на озеро Бива.

— На озеро Бива? — переспросил я, удивившись столь неожиданному предложению.

— Прошу вас, поедem! Мне так хочется покататься на лодке.

Хотя шла война, девушка была в отличном настроении. Тому причиной, наверно, было ярко светившее весеннее солнце. Как ни странно, я не решился отвергнуть предложение Нобуко.

— Хорошо, я и сам не прочь съездить с тобой на озеро Бива, — сказал я и подумал: единственное, на что я еще способен — это беспрекословно исполнять просьбы этой девушки и сопровождать ее повсюду, куда бы она ни пожелала отправиться.

Мы приехали на станцию Сандзё и пропустили несколько электричек на Оцу, пока не дождались более или менее пустой, и сели на свободные места. Я снова увидел озеро Бива — впер-

вые с тех пор, как Кэйсукэ бросился в его воды. За прошедшие двадцать лет я мог не раз побывать в Оцу — время от времени ученые устраивали там различные банкеты, — но после гибели Кэйсукэ мне было неприятно видеть это озеро, и я под разными предлогами отказывался от поездок. Но когда я приехал сюда вместе с Нобуко, я ощутил лишь чувство восхищения красотой природы. Страшная штука — время! Оно погасило во мне ту боль, которую я некогда испытал в связи с самоубийством Кэйсукэ. Солнце было в зените, и мелкая рябь на озере напоминала рыбы чешуйки. Вдали виднелись лодки и небольшие суденышки. Здесь совершенно не ощущалось, что где-то идет война.

Я поглядел на горы Хира, и мне неудержимо захотелось побывать в Катаде. Туда как раз отплывал пароход.

Через полчаса мы были на месте и зашли передохнуть в тот самый «Отель призрачных вершин». Хозяин куда-то отлучился, и нас встретила неприветливая служанка. Я заметил, что некоторые окна в коридоре были без стекол. В отеле царило запустение, как, впрочем, и во всей Японии в те дни.

Мы вышли к озеру и по просьбе Нобуко наняли лодку. Я впервые в жизни сел в лодку и чувствовал себя неудобно. Нобуко выпросила на лодочной станции плоскую подушку, усадила меня на нее, посоветовала держаться руками за края бортов, а сама села на весла, и лодка заскользила по водной глади пустынного в этот час озера.

— Дедушка, вам нравится? — спросила Нобуко.

Брызги, поднимаемые веслами, попадали мне в лицо, да и само плавание на утлом суденышке не вызывало у меня особой радости, но я ответил: «Конечно нравится». Я все же запретил Нобуко далеко удаляться от берега. С озера были отчетливо видны цветущие вишни на берегу, а за ними сказочные вершины Хира. Воздух был холоден и прозрачен, в нем не чувствовалось присущей апрелю сырости.

Невдалеке от лодки плеснула рыба. «Глядите, рыба!» — удивленно воскликнула Нобуко и быстро заработала веслами, подгоняя лодку к тому месту, где расходились на воде круги. Наблюдая за ловкими движениями девушки, я вдруг вспомнил

ту восемнадцатилетнюю женщину, которая ушла из жизни вместе с Кэйсукэ. Я видел ее какое-то мгновение, когда она замерла на середине лестницы, но запомнил навсегда. И сейчас мне показалось, будто Нобуко чем-то напоминает мне эту женщину. То ли выражение детского удивления на лице, когда плеснула рыба, то ли природная ловкость, с какою Нобуко управлялась с лодкой, заставили меня мгновенно вспомнить ту женщину. Ее образ как-то странно наложился на лицо Нобуко, и я почувствовал легкое головокружение. Та женщина, видимо, была столь же проста и бесхитростна, как Нобуко, и я, как ни странно, перестал ощущать к ней, отнявшей у меня Кэйсукэ, ненависть. Я поймал себя на том, что испытываю к ней нечто похожее на любовь, чего не испытывал даже к самому Кэйсукэ.

Я глядел на воду — ту самую воду, которая поглотила Кэйсукэ и его женщину, потом опустил в нее руку, наблюдая, как вода медленно течет меж моих скрюченных старческих пальцев. Вода оказалась холоднее, чем я предполагал.

Теперь и Нобуко ушла в мир иной. Уже после войны она заболела сыпным тифом и угасла буквально за несколько дней. Нет и Мисы. Умер отец Такацу — свекор Ацуко, которого я при жизни так ненавидел. В тот год, когда окончилась война, умер Танио. Умерли все — и мои друзья, и те, кого я не любил.

Когда скончался Танио, от его родственников из Синано пришло письмо с просьбой сделать вскрытие. Значит, не было пустым обещание, которое он дал мне пятьдесят лет назад. Но с тех пор прошло слишком много времени, и я теперь уже был не в силах делать вскрытие, не мог исполнить то, чего хотел тогда в Лейдене...

День клонился к вечеру, и ошутимей стал холодный ветер, дувший с озера. Стали зябнуть шея и колени, и захотелось укутаться во что-нибудь теплое, хотя был уже май. Сегодня почему-то особенно сильно звенит в ушах — как будто в них гудит ветер. Но ветер и на самом деле усилился.

Сейчас из-за моего неожиданного исчезновения в доме, наверно, суматоха в самом разгаре. Но меня это нисколько не

волнует. Возможно, о случившемся уже сообщили в университет Ёкотани и Сугияме, и они примчались к нам в дом, беспокоясь за судьбу своего учителя. Ёкотани и Сугияма теперь профессора и занимают в университете ответственные посты. Но, к сожалению, хотя они считаются моими учениками, настоящими учеными, как я, они не стали, да и навряд ли понимают истинную ценность моей работы. Внешне они относятся ко мне с уважением, обращаются ко мне не иначе как Миикэ-сэнсэй, а за глаза, наверно, называют выжившим из ума старцем. Во время войны они совершенно забросили научную работу под предлогом занятости то эвакуацией университета, то мобилизацией ученых и студентов. Тогда я промолчал, ни слова не сказал им в упрек, но про себя с горечью решил, что истинными учеными они никогда не будут...

Я стоял на мостках у лодочной станции, где когда-то вместе с Нобуко мы брали прогулочную лодку. Дул сильный ветер, и волны одна за другой накатывались на берег, сотрясая шаткие мостки. На одной из лодок хлопал на ветру белый флаг. Сезон уже давно окончился, и, видимо, его забыли убрать. Последнее время меня стал выводить из себя любой беспорядок, поэтому вызвал раздражение и этот флаг. Прежде я отличался более покладистым характером, но его, видимо, испортили мои домочадцы. Сколько раз мне приходилось напоминать Харуко, чтобы она сняла развешенное для просушки белье, видневшееся из моего кабинета! Сколько дней валялись на столе Хироюки готовые к отправке запечатанные письма с наклеенными на них марками! Ацуко и Садамицу тоже вносили свою лепту в царивший в доме беспорядок, и это меня убивало! Да и в университете было не лучше. Однажды я дал задание своим аспирантам написать краткие доклады на тему о лимфатических железах. Прошел год, но доклад представил лишь один аспирант — самый молодой.

Нет, лучше ни о чем не думать. От всяких мыслей только устаешь. Надо сосредоточиться лишь на одном — завершить труд моей жизни. Сегодняшний день пошел прахом. Придется наверстывать ночью. Работать, работать! Старый ученый Сюнтаро Миикэ должен работать до последнего вздоха! Сегодня

до глубокой ночи буду писать пояснения к таблицам девятой главы. Если не получится, придумаю хотя бы заголовки таблиц. А потом попрошу служанку принести сакэ — двести граммов первоклассного сакэ в хорошо вымытой бутылочке... Эх, теперь за день успеваешь то, на что раньше не уходило и часа. Страшная штука — старость!

Пятьдесят лет назад я сидел в этой комнате и думал о смерти. А теперь так хочется прожить хоть один лишний денек. Уже ушли в мир иной и мой учитель Швальбе, и профессор Ямаока из Токио. Наверно, они тоже хотели еще пожить, еще поработать. Да и Танио тоже. Он поставил себе великую цель: создать словарь санскритского языка, но умер, так, кажется, и не завершив свой труд. Правда, религиозные люди несколько по-иному подходят к проблеме жизни и смерти, но, честно говоря, Танио вовсе не был верующим. Он был ученым. Я и полюбил его именно за это. Говорят: «озарение», «религиозный экстаз». А по мне, этим «озарением» прикрываются ленивые люди, которые только и делают, что увлекаются медитациями да вознесением хвалебных молитв Будде. А человек, пока теплится в нем искра жизни, должен работать. Он родился человеком не ради того, чтобы бездумно греться на солнышке и заниматься поисками счастья. Его истинное предназначение — работа.

Сейчас я сижу в этой комнате в «Отеле призрачных вершин» и за полдня вволю налюбовался на горную цепь Хира. День уже клонится к вечеру, и очертания гор постепенно теряют свою четкость. Не пройдет и часа, как они совсем растворятся в ночной мгле.

Сегодня, проезжая на машине по шоссе, я видел по обочинам дороги множество цветущих рододендронов. А ведь азалии принадлежат к тому же виду, и сейчас на вершинах Хира они, должно быть, давно распустились, и их белые цветы покрыли горные склоны благоухающим ковром. Ах, если бы я мог прилечь на этот ковер, мое сердце наконец обрело бы покой. Я вытянул бы ноги, раскинул руки и глядел бы без конца в синее небо. От одной мысли об этом приятно становится на душе. Только там, на вершинах Хира, среди белых азалий смог бы я

отдохнуть душой. Ах, почему до сих пор я ни разу не удосужился подняться на эти вершины? Теперь поздно, теперь это мне уже не по силам, как не по силам завершить свой труд.

Я всегда любовался горами Хира — и в тот день, когда шел снег, а я, замерзая в легком кимоно, забрел в этот отель, и когда Кэйсукэ покончил жизнь самоубийством, и когда мы катались на лодке с Нобуко. Но ни разу в те дни мне не приходила в голову мысль подняться на вершины Хира. Почему? Может, я всякий раз приезжал сюда в неподходящий сезон? Нет, не в этом дело. Скорее всего, я еще не считал себя достойным подняться на эти вершины. Так, по крайней мере, мне теперь кажется...

Много лет назад, когда я увидел в журнале азалии в Хира, я подумал: придет день, когда я поднимусь туда. Может, этот день наступил именно сегодня, но сегодня при всем желании у меня уже не хватит сил...

Пойду-ка лучше в комнату, попрошу, чтобы пораньше подали ужин. И за работу! Впервые за много лет я могу спокойно провести вечер, не нарушаемый надоедливими голосами детей... Откуда-то доносится звон колокольчика. Или мне только слышалось? Нет, нет, сквозь звон в ушах явственно доносится звук колокольчика... Пожалуй, я все же ослышался. Когда-то в Германии, в горной хижине в Трайберге, работая над одной рукописью, я часто слышал звон колокольчика, когда проходило стадо коров. Как он был прекрасен! Наверно, это он вспомнился мне сейчас и, спустя десятки лет, вновь зазвучал в моих ушах.

Поскорее принесли бы ужин. Поем — и за работу. Коралловый лес алых кровеносных сосудов призывает меня.

Содержание

5	<i>Н. Федоренко</i> — Предисловие
17	Охотничье ружье
59	Бой быков
111	Азалии в Хира

ЯСУСИ ИНОУЭ
ТРИ НОБЕЛЛЫ

Отвественный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *М. Ткачев*

Обложка художника *А. Махова*

Художественный редактор

Л. Филиппова

Технический редактор *Е. Медведева*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 713

Сдано в набор 2.03.82. Подписано
в печать 16.07.82. Формат 70x100/32.

Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,85.

Уч.-изд. л. 7,13. Тираж 50 000. Зак. № 255.
Цена 80 коп.

Издательство «Известия Советов народных
депутатов СССР».

103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат
Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
г. Можайск, ул. Мира, 93.

В библиотеке журнала
«Иностранная литература»
в течение 1982—1983 гг.
среди других книг
предполагается выпустить следующие:

Ясуи Иноуэ (Япония) — ТРИ НОВЕЛЛЫ
Леонардо Шаша (Италия) — ПАЛЕРМСКИЕ
УБИЙЦЫ

Герман Кант (ГДР) — ОБЪЯСНИМОЕ ЧУДО
Вити Ихимаэра (Новая Зеландия) — В ПО-
ИСКАХ ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

Хоакин Сантана (Куба) — ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ УЛИЦЕ МАГНОЛИИ

Надин Гордимер (ЮАР) — ДОМ ИНКАЛАМУ
Рэй Брэдбери (США) — В ДНИ ВЕЧНОЙ
ВЕСНЫ

Эржебет Галгоци (Венгрия) — ВДОВА СЕЛА
Юхан Борген (Норвегия) — ДЕКАБРЬСКОЕ
СОЛНЦЕ

Джеймс Джойс (Ирландия) — ДУБЛИНЦЫ
Сид Чаплин (Великобритания) — ТОНКИЙ
ШОВ

Арманде Роблес Годой (Перу) — В СЕЛЬВЕ
НЕТ ЗВЕЗД

Цена 80 коп.



ЯСУСИ ИНОУЭ
(родился в 1907 году) —
один из признанных
мастеров японской прозы.
Регулярно публикуется
с 1949 года. В Японии
завершается выпуск
собрания его сочинений
в 32-х томах.
На русском языке
выходили его роман
"Сны о России"
и новелла
"Охотничье ружье",
включенная в настоящий
сборник.